

ЕЛЕНА СКРЯБИНА

ГОДЫ СКИТАНИЙ



Издательство
«ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ»
Париж

Елена Скрябина

ГОДЫ СКИТАНИЙ

Из дневника одной ленинградки



**Издательство
«ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ»
Париж**

ISBN 2-85080-000-7

© LIBRAIRIE DES CINQ CONTINENTS, 1975

ВЕНОК НА МОГИЛУ

Для счастья у этого человека было всё, даже с избытком: молодость, здоровье, обаятельная внешность, любовь, университетский диплом, прекрасное начало жизненной карьеры. Вместе со своей невестой он приехал из Америки, чтобы провести лето на юге Европы. По дороге из Венеции в Афины они остановились на несколько часов в Македонии, именно в городе Скопье, откуда собирались выехать с восходом солнца.

Но остановка оказалась роковой. На рассвете произошло страшное землетрясение, молодые люди погибли под развалинами отеля. Об их смерти узнали только по машине, найденной на улице около гостиницы.

Такой беспримерный по своей нелепости трагический случай и был причиной выхода в свет данной книги, автором которой является мать погибшего Юрия Скрябина. Однако событие, послужившее канвой для этой повести, не связано с личной драмой. Книга представляет собой дневник, в какой-то мере отражающий первый этап минувшей мировой войны. Это — записи, сделанные на одном из самых тяжёлых фронтовых участков — в голод-

ном, отрезанном от мира Ленинграде, где ежедневно умирали тысячи жителей.

За тридцатилетие, прошедшее со времени осады этого города, написаны десятки произведений, в которых блокада показана во всевозможных вариантах и жанрах, но тема далеко не исчерпана. Например, появился большой роман Александра Крона «Дом и корабль», полностью посвящённый жизни блокированной блистательной столицы России.

Как правило, в произведениях советских авторов на эту тему лейтмотивом является героизм плюс советский патриотизм. В романах, повестях, поэмах много говорится о жертвенности, об организаторской роли партии, о высокой сознательности населения, воспитанного коммунистами. Зато довольно скупо сказано о человеческих страданиях, о голоде, постигшем миллионы людей в результате непредусмотрительности властей. Сказано ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы картина не была совершенно лишена признака правдивости.

О блокированном Ленинграде написано кое-что и за рубежом. Пожалуй, наиболее значительным произведением на эту тему является роман Анатолия Дарова «Блокада». Но в ней на первый план выведены люди-хищники. Это те, кто в царстве голода и смерти пользовались своим выгодным положением и создавали личное благополучие на краденых у народа пайках.

Книга Елены Скрабиной — повествование иного порядка. Прежде всего это — искренние и волнующие записи

матери, самоотверженно боровшейся за жизнь своих детей, отдавшей последние силы, чтобы отстоять эту жизнь в условиях голода, холода, произвола и смерти. Автор не изображает добродетельных героев и не останавливается подробно на виновниках бедствия. Главным образом в дневнике говорится о рядовых интеллигентных людях, не имеющих ни партийных, ни служебных преимуществ. Одни из них более стойкие, другие — теряют голову, звереют, мучаются сами и тиранят своих близких. Одни с радостью ждут прихода немцев, другие только мечтают как бы вырваться из кольца блокады. Нет в дневнике стремления подчеркнуть трагическое положение, сгустить краски. Всё тут изложено просто, без восклицательных знаков, почти со сдержанностью летописца. Вот в записи от 12 ноября 1941 года несколько строк о том, что в городе началось людоедство:

«Рассудок допускает даже эту страшную возможность: люди дошли до предела и способны на всё. Муж меня уже предупредил, чтобы я не пускала Юрочку на прогулки далеко от дома и даже с няней».

В другом случае говорится, насколько обычным явлением стала смерть:

«Смертность растёт. Говорят, что ежедневно умирает до трёх тысяч человек. Думаю, что это не преувеличение — город буквально завален трупами. Родственники или знакомые везут хоронить покойников на маленьких салазках, связывая по два, даже по три трупа. Можно встретить порой и большие сани, на которых покойники

уложены, как дрова, и прикрыты сверху парусиной. Изпод парусины торчат голые синие ноги — убеждаетесь, что это не дрова».

Не обойдено молчанием и страшное зло осаждённого города: использование людьми своего служебного положения, бессердечный эгоизм тех, в чьих руках находилось продовольствие. Однако и тут автор не впадает в обличительно-истерический тон, только констатирует — иногда с обидой, иногда с горькой улыбкой. Полностью оправдано и то, что в дневнике часты упоминания о пайках, о насущном хлебе. Это совершенно естественно: о чём другом могли думать люди, умирающие с голода?

Все особенности данной, скромной по размерам книги, не претендующей стать историческими мемуарами, делают записки Елены Скрябиной ценным документом, отражающим жизнь осаждённого города, документом, проникнутым к тому же большой человеческой теплотой и глубоким чувством матери.

Арк. Гаев

ОТ АВТОРА

Памяти сына Юрия

26 октября 1963 года.

Сегодня — день рождения старшего сына; сегодня же миновало ровно три месяца, как я потеряла второго сына — он погиб 26 июля. Жизнь и смерть. Радость и горе. Они идут рядом. Над этим я и задумалась после сегодняшнего традиционного ужина. Так пришла мысль извлечь из вороха всевозможных давних бумаг — писем, лекций, черновиков, старую тетрадь, вывезенную когда-то из Ленинграда ещё в виде маленьких заметок. Свыше двадцати лет я не брала её в руки. Хранила, как документ о пережитом, которое неизгладимо в памяти.

Это — мой дневник. Торопливые, неотшлифованные записи, сделанные в первые месяцы войны и блокады города. В то время я заносила на листочки бумаги личные впечатления, переживания, случайные наблюдения, некоторые факты — частицы жизни, похожей на страшный сон. Но больше и чаще касалась узкого круга близких людей. Прежде всего своей семьи. Сегодня я смотрела на эти записи по-иному. При всём своём несовершенстве, они показались мне в какой-то мере повестью о жизни и смерти, о невозвратных потерях, о редких неожиданных радостях.

Задумав поделиться этими воспоминаниями с неизвестным читателем, я решила оставить дневник в его первоначальном виде. Только дописала несколько незаконченных когда-то строк, изменила два-три имени.

Ленинград

(22 июня 1941 года — 6 февраля 1942 года)

Воскресенье, 22 июня 1941 года.

Утро было спокойное, ясное, обещавшее прекрасный день. Вместе с моей приятельницей Ириной, я собралась отправиться в Пушкин навестить больного юношу, Андриюшу Навроцкого, больного туберкулёзом и прикованного к постели уже в течение нескольких лет. Мой старший сын, Дима, со своим неразлучным другом Серёжей, жившем в том же доме, что и мы, готовился к давно запланированной экскурсии в Петергоф. Мальчики там ещё никогда не были, а сегодня в Петергофе открытие фонтанов.

Было мирно и радостно на душе. В распахнутые окна вливались потоки солнца, утренняя свежесть. За дверью слышались шаги моего пятилетнего сына Юрия, стремящегося ко мне и шёпот няни, старающейся его удерживать, чтобы дать мне возможность, ради праздника, поспать подольше. У меня была срочная работа на машинке, которую я обязалась закончить к сегодняшнему дню, так что я поторопилась встать и засесть за работу. Надо было освободиться к условленному времени поездки.

Около девяти часов раздался телефонный звонок. Звонил муж с работы. Голос его был необычен. Всегда выдержанный и спокойный, на этот раз он казался чем-то

очень взволнованным. Ничего не объяснял, попросил никуда не уезжать и задержать Диму. Но Дима уже уехал. От предупреждения мужа родилась неясная тревога, но всё же я была очень далека от мысли, что может произойти какая-то катастрофа.

В двенадцать часов мы с мамой слышали по радио речь Молотова. Вот оно что — война! Германия уже бомбила города Советского Союза. Речь Молотова прерывиста, словно ему не хватает дыхания. Неуместными кажутся его бодрящие призывы. И сразу возникло ощущение: что-то огромное надвинулось и душит. После передачи выбежала на улицу. Город в смятении. Люди торопливо обмениваются словами, наполняют магазины, скупают всё, что попадает под руку. Бессмысленно мечутся по улицам. Многие устремляются в сберкассы за своими сбережениями. Эта волна захватила и меня. Я тоже попыталась получить рубли, которые числились на сберегательной книжке. Но оказалось, что поздно: в кассе денег не стало, выдачи прекратились. Народ шумел, требовал. А июньский день пылал, жара невыносимая. Кому-то делалось дурно, кто-то отчаянно бранился. В течение целого дня настроение было тревожным, напряжённым. Только к вечеру все странно утихло. Будто притаилось перед грозой.

23 июня, 10 часов утра.

Провела бессонную ночь. Легла рано, в одиннадцать, но заснуть не пришлось. Слишком напряжены нервы.

Беспокойные мысли лезут в голову. Что то с нами будет? Казалось, что Германия нас задавит и все мы погибнем. Ещё вечером позвонил муж и сказал, что домой ночевать не придёт — его оставили дежурить на фабрике. Это было особенно неприятно в такое тревожное время. С трудом удалось заснуть во втором часу ночи, как вскоре была разбужена оглушительной стрельбой. Ничего не могла понять. Казалось, что уже бомбят Ленинград и всё вокруг рушится. Вскочив с постели побежала будить всех в квартире. К моему крайнему изумлению, все спокойно спали. Потревоженные мною, все собрались в передней, как в наиболее безопасном месте — там нет окон и потому стрельба казалась глуше. Ораторствовала наша соседка по квартире, Любовь Куракина, муж которой, в прошлом партиец, сидел уже два года по обвинению в контрреволюции. Хотя коммунистические настроения Куракиной после ареста мужа и пошатнулись, но в эту ночь, под грохот зениток, она забыла все обиды. Убеждённо твердила о непобедимости советской России. Уверенность Куракиной действовала в какой-то степени успокоительно, хотя и не верилось вполне тому, о чём она говорила. На высоком сундуке сидела бывшая домовладелица, Анастасия Владимировна, и саркастически улыбалась. Она не скрывала своей ненависти к советской власти и видела в войне и победе немцев единственное спасение. Хотя я во многом разделяю её взгляды, но в эту минуту её улыбка безумно меня раздражает. Хочется верить, несмотря ни на что, что Россия не будет уничтожена, а

в то же время сознаёшь, что только эта война является реальной возможностью для освобождения от террористического режима.

А стрельба всё не прекращалась. Часа три палили зенитки, огромное количество которых установлено в самом Ленинграде и вокруг него. Казалось конца не будет, но к утру опять всё погрузилось в тишину. Когда мы разошлись по своим комнатам было совсем светло и о сне не могло быть и речи. Солнце вставало на безоблачном небе, и опять всё предвещало чудный летний день — второй день войны.

23 июня, вечер.

День прошёл сравнительно тихо. Приезжал усталый после дежурства муж. Старался ободрить, поднять общее подавленное настроение. Я ездила в кассу Александринского театра продать билеты, взятые нами 2 недели тому назад на «Дворянское гнездо», пьесу по одноимённому роману Тургенева. Я давно мечтала посмотреть эту постановку, которую все так расхваливали, но перспектива сидеть в театре, ожидая повторения канонады, не привлекала меня совсем. Пропало всё настроение и казалось невозможным жить нормальной жизнью.

24 июня.

Сегодня произошло «великое переселение народов». К нам явилась вся семья Тарновских. Их квартира вблизи

Путиловского завода, и они опасаются что этот промышленный район будет подвергнут бомбардировке раньше других. Пришлось потесниться. Одну из наших четырёх комнат отдала молодым Тарновским — Юрию с женой, а мать поселилась в моей комнате на кушетке. Теснота, даже по нашим советским условиям, невероятная. Мать моя ворчит, но я довольна. В опасное время лучше быть окружённой людьми. Вероятно недаром говорят, что «на миру и смерть красна».

25 июня.

Муж теперь редко бывает дома. Его всё время задерживают на фабрике. Лишь пятый день войны, а обычная жизнь уже нарушена. Все окна затемнены. Шторы из плотной синей бумаги отделяют нас от знакомого города, от улицы, проходящей за стенами дома. Не раздаются, как бывало, голоса детей, обычно игравших на нашем бульваре. Все попрятались по квартирам, затихли. Все напряжённо ждут чего-то. Все интересы сосредотачиваются вокруг самых близких, вокруг родных, семьи. Младшие дети в нашей квартире: Юра и его друг Витя, целыми днями играют в войну. Только ни тот, ни другой не желает изображать из себя немцев. Эта роль поручается нашей няне. В результате она всегда побеждена, а мальчики наполняют дом победными криками. До них серьёзность нашего положения ещё не доходит. Другое дело — Дима. Он слушает все передачи, совещается с друзьями по школе, приносит нам все новости.

26 июня.

Вчера вечером пришлось пережить большие волнения. Я была уже в постели, когда наша соседка, Любовь, ворвалась ко мне в комнату с диким воплем: «Немедленно прячьте Юру!» Торопясь она сообщила последнюю новость: отдан приказ вывезти всех детей из Ленинграда, матерям не разрешено сопровождать, посылают детей в Бологое, Старую Руссу и тому подобные места. А там ещё более опасно, так как немцы наступают с невероятной быстротой и бомбят. Я так испугалась, что о сне нечего было и думать. Сердце колотилось, мысли все перепутались, не знала что возможно предпринять, на что решиться. Расстаться с Юриком, да ещё в такое тревожное время, для меня такой ужас, что я готова пойти на всё. Решила, что буду сопротивляться всеми силами и мальчика не отдам. Всю ночь меня преследовали кошмары. Чудилось: Юрия вырывают из рук, я тяну его обратно, а сил больше нет, как это часто бывает во сне, чувствую, что не могу больше бороться.

27 июня.

После мучительной ночи провели беспокойный день. Трудно было прийти к какому-нибудь решению, чтобы спасти Юру от насильственной эвакуации. Совещалась с соседями, у которых тоже маленькие дети, звонила друзьям. Никто не находил ответа на тревожный вопрос. К счастью, ещё не было канонады и можно было выхо-

дить из дому. Вечером жуткая тишина повисла над городом. В час ночи резкий настойчивый звонок. Кто жил в Советском Союзе знает, что значит такой, особенно длинный, ночной звонок, от которого останавливается сердце. Так звонят, когда приходят с обыском или ордером на арест. Мелькнула мысль, что возможно и за Юрой. На этот раз оказалось другое — повестка военного комиссариата. Её мы ожидали. Хотя во время финской кампании муж не был призван, но теперь положение иное. Всем была понятна опасность и объём настоящей войны. Финская казалась, по сравнению, игрушкой.

28 июня.

Сегодня опять новое волнение. Началось всё с телефонного звонка моей приятельницы Холмянской, жены коммерческого директора фабрики, на которой работает мой муж.. Она предлагает вместе с детским очагом фабрики выехать и вывезти детей в направлении Москвы. В дальнейшем можно жить в том месте, которое изберут для очага и там же работать в роли воспитательницы. Холмянская сообщает, что она со своим сынишкой, тоже Юрой, едет. Она убеждает меня не раздумывать, так как по её мнению это для меня единственная возможность остаться с Димой и Юриком. Кроме того, она уверена, что жителей Ленинграда ждут весьма тяжёлые испытания. Я поехала на фабрику. Директор повторил слова Холмянской и включил меня в число служащих этой организации. На первый взгляд складывается удачно, но одно-

временно возникает весьма серьёзный вопрос. Дело в том, что детей я могу взять с собой, а мою мать и старушку няню — нельзя. Вернулась с этим известием домой. Мать моя разрыдалась, пугается мысли, что таким образом мы расстанемся навсегда. Няня подавлена, но молчит. Я словно между двух огней. С одной стороны, прекрасно понимаю, что нужно спасать детей, а с другой — жаль беспомощных старушек. Разве можно оставить их на произвол судьбы?

Мне просто не верится, что в Ленинграде может быть голод. Ведь нам всё время твердят о громадных запасах продовольствия, которых якобы хватит на много лет. Что же касается угроз бомбёжки Ленинграда, то ведь опять же мы всё время слышим о сверхмощной противовоздушной обороне, о том, что город не может быть подвергнут обстрелу. Если хоть наполовину это правда, то зачем куда-то бежать?

29 июня.

Сегодня приходила двоюродная сестра Марина. Она устрешена войной. Готова лететь без оглядки куда угодно. Сначала хотела отлправить своего десятилетнего сынишку со школой, в которой он учится, потом выяснилось, что эвакуируют Эрмитаж, где она работает и что она может взять сына с собой. Меня она называет сумасшедшей за то, что я ещё раздумываю и не еду с детским очагом фабрики. В результате всех этих разговоров, я уложила кое-

какие вещи, взяла немного еды на дорогу и стала ждать что будет. Мои старушки, которые были вчера так ошеломенены известием о возможности уехать мне с детьми, а им остаться в Ленинграде, теперь решились на жертву. Они стали уговаривать меня обязательно эвакуироваться, чтобы спасти детей.

Но решать пришлось не нам. Раздался телефонный звонок. Рыдающим голосом Холмянская сообщает, что всё рухнуло. Работницы фабрики взбунтовались, чуть не разнесли фабричный комитет, когда узнали, что с детским очагом отправляют, так сказать, фабричную интеллигенцию. В общем поездка не состоится. Я не могла скрыть радости: мой мучительный вопрос разрешился обстоятельствами, от меня не зависящими. Теперь не надо бросать старушек, не надо ехать на совершенно новую для меня работу воспитательницы в незнакомое место. Как-то сразу легче стало на сердце.

30 июня.

Однако детей усиленно эвакуируют. Почти все знакомые отправили своих малышей и подростков. Марина уехала со своим Олегом в Ярославскую область. Другая двоюродная сестра, Ляля, отправила своих детей с какой-то организацией, а соседка моя, Любовь, поехала за своими детьми в Белоруссию, где уже второй месяц дети находились в деревне, в семье домработницы. Когда она доберётся туда при существующем транспорте — не могу представить. Теперь частным лицам передвигаться почти

невозможно. Хорошо, что Любовь женщина весьма энергичная. За эти годы, после ареста мужа, жизнь её была настолько тяжёлой, что её не пугают никакие препятствия, а в данном случае ещё бóльшую роль играют чувства матери. Она поставила себе цель — разыскать детей, и я надеюсь, она их разыщет. Сегодня зашла к одной знакомой, Елизавете Сергеевне, со слезами отправляла она свою трёхлетнюю дочку. Её еле уговорили на этот шаг муж и родители. Муж работает в НКВД и там есть детский очаг для всех сотрудников, имеющих детей. Повидимому условия созданы хорошие, но для матери это всё не играет роли, самое главное надо расставаться в такое страшное время.

Зенитки не стреляют. Неужели же правда, что Ленинграду не угрожают воздушные налёты?

1 июля.

Потрясена страшной новостью. Арестовали мою подругу и сослуживицу Бельскую. В чём дело? Одна из многочисленных загадок. Конечно, никто ничего не объясняет: пришли ночью, сделали обыск, ничего не взяли, ничего не нашли, а её увели. Знаю о неприязненном отношении к ней декана нашего Института. Ходили разговоры, что отцом её внебрачной дочери был французский инженер, временно проживавший в Ленинграде и работавший на Аллюминиевом Комбинате. По окончании своей командировки, француз этот уехал из Советского Союза и, на-

сколько я знаю, даже не помогал ей содержать ребёнка. Всё же подозрение, что у неё связь с заграницей, по-видимому, лежало на ней. Враждебное отношение декана могло тоже сыграть свою роль. Причин для ареста достаточно. Меня очень тревожат мысли о её судьбе. Мне известно положение её семьи: брат мобилизован в первые же дни, сестра больна туберкулёзом, кроме того, у неё старушка мать и трёхлетняя дочь. Я навестила их и провела там полчаса. А у меня дома решили, что и меня арестовали.

2 июля.

Тревожное ленинградское настроение до такой степени надоело, что я предприняла совершенно неожиданное решение: поехала в Тярлево и сняла дачу. В этом году все дачи свободны, выбирай любую. В прошлые годы я и не пыталась бы этого сделать, так как в Тярлеве цены на дачи весьма высокие и всё снимается уж с января. Теперь картина другая — дачи пустуют, а хозяева прямо зазывают к себе и идут на все уступки, чтобы только не потерять заработок нынешнего года.

3 июля.

Вчера же и переехали с самым минимальным количеством вещей. Сегодня мы все с наслаждением отдыхаем. Кругом полная тишина. Природа очень красива. Как будто и войны нет.

5 июля.

Сегодня летали самолёты. Преимущественно немецкие. Люди ещё не привыкли к войне, относятся к ней легкомысленно. Во время налётов не прячутся в подвалы, а как раз наоборот — высыпают на улицу. Нас тоже захватила эта атмосфера, и мы наблюдали воздушные бои, не думая об опасности.

Известия в газетах всё тревожнее. Города один за другим переходят в руки немцев. Мимо нас громяхают бесконечные поезда с женщинами и подростками, мобилизованными на рытьё окопов. Муж остался в Ленинграде. Его никуда не отправляют, но он должен закончить специальные курсы. Разрешают навещать. Буду ездить раз в неделю в Ленинград. Надо тоже следить за развитием событий, а то здесь мы отрезаны от всего мира.

8 июля.

Пишу, вернувшись из Ленинграда. Навещала мужа, зашла к себе на квартиру. Всё виденное и слышанное безрадостно. Люди продолжают метаться. Каждому кажется, что район, в котором он живёт, самый опасный, а у знакомых спокойнее. В нашу квартиру переехали дядюшка с тётушкой. Всё по той же причине — наша квартира будто надёжнее. Заняли комнату Юры. Я, конечно, разрешила. Сейчас мы не живём в городе, а если даже и вернёмся, то о комфорте думать не приходится.

Каждый день новые тревожные вести. То уверяют, что немцы обязательно пустят газы (это меня пугает больше

всего), то идут слухи, что через месяц Ленинград будет занят. Но чаще говорят о том, что скоро наступит голод, так как крупные продовольственные запасы, о которых твердили газеты, — очередная ложь.

На рыгтьё окопов людей посылают тысячами, десятками тысяч. Все учреждения превратились в мобилизационные пункты: служащих, пришедших на работу, обычно организуют в бригады и отправляют в прифронтовую полосу. Едут барышни в сарафанчиках и босоножках, им даже не разрешают поехать домой переодеться и взять хотя бы самое необходимое. Неизвестно велика ли от них польза, ведь вся эта городская молодёжь даже с лопатами обращаться не умеет, не говоря уже о ломах, которыми приходится пользоваться, так как почва в одних местах глинистая, в других от засухи твёрдая, как камень. Условия тяжёлые: ночуют где придётся, часто под открытым небом. Немцы сбрасывают бомбы или осыпают пулемётным огнём. Молодая Тарновская, которая живёт в нашей квартире, попала в число этих жертв. Она была очень легко одета, когда её забрали со службы. Кроме лёгкого сарафанчика и талочек на ней ничего не было. Погода же переменялась, полил дождь, надо было продолжать работу, хотя она уже еле таскала ноги. Теперь лежит с очень высокой температурой и, вероятно, слегла надолго.

Вчера же вернулся из концентрационного лагеря Куракин, муж нашей соседки по квартире. Два года она хлопотала, добиваясь пересмотра дела, но всё было безуспешно. Теперь война помогла — его выпустили. Вначале

Любовь была на седьмом небе, не верила, что он вернулся. Но первый порыв прошёл, и между ними установились очень странные отношения. Он — просто страшен. Подавлен, пуглив, боится рот раскрыть. Она потихоньку от него нащёптывает мне что он там перенёс. Рассказывает, что его сильно и многократно били, требуя каких-то признаний в несовершенных им преступлениях. У него сломано ребро, на одно ухо не слышит.

Ещё Любовь рассказывала мне о своих приключениях. Ведь она на этих днях вернулась из Белоруссии, куда ездила за детьми. Пробралась в самое пекло. Соседняя деревня была уже в руках немцев. Говорит, что видела немцев в нескольких шагах от себя. Ничего страшного в них не нашла, — люди. как люди и даже отнеслись к ней сочувственно и предупредили, чтобы лучше легла за камень, так как в это время шла перестрелка. Больше всего пугало её то, что с ней был её партийный билет, предусмотрительно затрянутый в чулок. Была уверена, что, если найдут билет, то ей не сдобровать. Всё завершилось вполне благополучно. Детей она нашла, часть пути ехала с ними на поезде, часть на грузовике, а в некоторых местах шла пешком. Вопреки всем трудностям детей привезла живыми и невредимыми.

10 июля.

Получила вызов из Ленинграда. Помчалась туда. Наше домоуправление предлагает ехать с транспортом на

Болгу, до Горького. Я отказываюсь. Женщина-управдом настаивает, пугая страшными картинами будущего. Несмотря на свою принадлежность к партии, не скрывает от меня своих настроений и ужаса перед надвигающейся с такой быстротой армией. Угнетённая этими разговорами, обещаю дать ей ответ в тот же вечер, а сама бегу посоветоваться с друзьями. Встречаю Холмянскую. Оказывается, она всё-таки была послана в район Бологого с группой фабричных детей. Увы! и эта попытка эвакуироваться, как и многие другие, не привела ни к чему. Над ними всё время летали самолёты, бомбили беспощадно, перепуганные дети кричали и плакали, просились домой к родителям. Многие матери теперь получили право взять отпуск и ехать за детьми. Обезумевшие женщины наполняют вокзалы и поезда, рвутся навстречу наступающей вражеской армии, чтобы успеть спасти детей.

В тот же вечер сообщаю управдому своё решение пока остаться. О детях слышу на каждом шагу. Мне кажется, что в таком страшном потрясении, как война, мысль о детях самая беспокойная, самая острая, доводящая до потери рассудка. Двоюродная сестра Людмила в эти дни отправилась в прифронтовую полосу, под Старую Руссу, куда две недели назад отправила детей. Сегодня утром появился муж Елизаветы Сергеевны, ездивший за своей дочкой. Хорошо ему! Будучи ответственным работником НКВД, он пользуется автомобилем, что позволило ему объехать несколько сёл и деревень. Всё же он еле разыскал девочку. Привёз её чуть ли не в одной рубашке.

Однако далеко не всем ленинградцам выпадает на долю такое счастье — найти своих детей, отправленных на летний отдых или эвакуированных предусмотрительными властями от надвигающейся немецкой опасности.

14 июля.

В Тярлеве я иногда забываю, что идёт война, что она так близко. Почти рядом. Успокаивающе действует сама природа, благодатные летние дни. Сегодня лежала на берегу озера. Синее небо, синее озеро, зелёная рампа берегов. И тишина. Не слышно голосов, в аллеях никого не встретишь. Только где-то вдали, сквозь зелень, серебрятся стены дворцов. Можно забыть о том, что творится на беспокойной земле. Но не совсем: порой долетают разноголосые гудки тревог, возвращают к действительности.

18 июля.

Сегодня введены карточки на хлеб, масло и другие продукты. Норма хлеба — 400 граммов на день, масла — 600 граммов на месяц. Ещё не страшно, жить можно. Открыты специальные коммерческие магазины, которые полны продуктами. Но цены очень высокие. Например, килограмм сахара стоит семнадцать рублей и всё в том же духе. Народ заходит, смотрит на цены и выходит из магазина, ничего не купив. Весь вопрос в деньгах. Их очень мало у людей, и редко кто откладывает на чёрный день. Впрочем, если у некоторых и были крупные сбере-

жения, то воспользоваться ими невозможно: с первого дня войны вышло распоряжение не выдавать более двухсот рублей в месяц. А на эти деньги при удешевлённых ценах многого не купишь.

Мне думается, что эти магазины имеют значение скорее психологическое, чем практическое. Когда видишь витрину с продуктами, то меньше доверяешь разговорам о предстоящем голоде. А мысли о нём угнетают, страшат. Мы помним годы, предшествовавшие НЭП'у, когда самым лакомым блюдом в Петрограде была конина, жаренная на касторовом масле. Мы помним голод тридцать третьего года, когда на чернозёмной Украине вымирали целые сёла.

Свои опасения я высказала Ирине Левицкой. Но она меня подняла на смех: «Да если даже что-либо подобное случится, то у тебя ведь сотни друзей в Ленинграде — с миру по нитке, голому рубашка. Уж твои-то дети будут обеспечены и нечего быть пессимисткой».

Дай Бог!

1 августа.

Почти две недели не раскрывала эту тетрадь: апатия. Не хочется писать всё о том же и о том же. А просвета нет. Какой уж там просвет, когда тучи сгущаются! Вести из города всё тревожнее. Говорят о стремительном наступлении немцев. Они рвутся к Ленинграду. Мы решили сидеть на даче, пока не возьмут Лугу, а когда возьмут — придётся возвращаться в городскую квартиру.

2 августа.

За три часа пребывания в Ленинграде наслушаешься столько, что надолго последний покой потеряешь. Прежде всего разговоры о новой эвакуации. Теперь вместе с детьми разрешили ехать и матерям. Однако, напуганные первой неудачной эвакуацией, матери не хотят ехать, ссылаются на всякие болезни, дающие отсрочку. У нас управляет домом женщина, близко принимающая к сердцу материнское горе. Она усиленно уговаривает меня оставить Ленинград. Моя мать не хочет двигаться, я же просто не знаю на что решиться. Пугает ещё то, что по дорогам свирепствуют эпидемии тифа, холеры и других желудочно-кишечных заболеваний. Это помимо того, что эвакуационные поезда подвергаются обстрелам и бомбёжкам с воздуха. Выехала семья директора фабрики, на которой до мобилизации работал муж, вскоре пришло известие, что старший сын, мальчик четырнадцати лет, умер от брюшного тифа. Холмянская решила больше никуда не уезжать. Её муж пошёл добровольцем в армию. Старшего сына, двадцатилетнего студента, мобилизовали. Она осталась одна с семилетним Юрой. Рассказывала, что, когда Додик уходил, она умоляла его не сдаваться в плен, так как, по слухам, немцы уничтожают евреев поголовно.

Мне стало жутко, когда я представила себе эту картину: мать умоляет сына покончить с собой. Неужели немцы уничтожают всех подряд только потому, что они евреи? Не могу допустить подобной мысли. Но Холмянская убеж-

дена. Она умоляет меня спрятать, в случае беды, её младшего сынишку и выдать его за родственника. Конечно, я обещала.

Моего мужа, видимо, оставят в Ленинграде. Холмянский хочет взять его в свою часть. Но муж отказывается хлопотать о своём переводе. Он — убеждённый фаталист. Не желает ничего предпринимать, верен своему принципу: «Будет так, как должно быть».

За несколько минут до моего отъезда из Ленинграда, позвонил Холмянский. Очевидно из самых лучших побуждений решил сделать меня соучастницей своих планов относительно мужа. Холмянский спросил меня, знаю ли я о предложении моёму мужу.

— Да, знаю.

— Вы должны его убедить. Вы должны обязательно это сделать.

— Понимаю и очень благодарю вас. Но вы ж знаете Сергея, он неизлечимый фаталист.

— Вот почему я и звоню. Убедите его. Поймите, что это необходимо. Ведь это в сегодняшних условиях чрезвычайно важно. Поймите ещё — с каждым днём будет хуже и труднее...

На протяжении, пожалуй, десяти минут он настойчиво убеждал меня воздействовать на мужа, доказывая преимущества, которые связаны с переходом мужа на штабную работу.

4 августа.

Только сейчас, поздним вечером, когда делаю эту записку, — до сознания доходит, каким длинным и тяжёлым был минувший день. Кажется, что сегодня впервые за полтора месяца я по-настоящему начинаю понимать войну. Сразу же по приезде в Ленинград узнала, что Холмянский убит. Всё утро пробегала с его женой, чтобы получить достоверные сведения о его гибели. Бедная Фаина невменяема. Видя её отчаяние и, вспоминая человека, с которым мы были так дружны, я тоже не могу сдержать слёзы. В конце концов, узнали подробности. Холмянский со своим заместителем (именно на эту должность прочили моего мужа) ехал в автомобиле где-то за городской чертой. Их стали обстреливать немецкие самолёты. Они бросились из автомобиля под уклон железнодорожной насыпи. В это время бомба попала прямо в полотно и, взлетевшими в воздух рельсами, оба были убиты.

Мы вернулись с Фаиной в пустую квартиру. Спустя некоторое время раздался звонок. Я пошла открыть дверь и увидела студентку, подругу старшего сына Холмянских. Бледная и взволнованная, она сообщила мне, что Додик с его частью попал в окружение. Мы оторопело смотрели друг на друга, не зная что же нам делать, как сказать это матери. Решили пока молчать. Может быть хоть это ошибка.

Двенадцать часов ночи. Над озером взошла ущербная луна. Она мертвецки бледная.

5 августа.

Бомбардировок пока не было. Заезжал Володя, муж Марины. Он важен и горд своим назначением — офицер действующей армии. Он большой патриот и предан Советской власти. Вооружён до зубов. Авторитетно уверяет, что Ленинграду никакая опасность не грозит: противовоздушная оборона великолепна, ни один самолёт не будет допущен. Так ли это?

Знакомые завидуют, что мы относительно спокойно живём на даче.

7 августа.

Развилась шпиономания. Каждый день то тут, то там ловят шпионов. Шпионами, как правило, оказываются мирные советские граждане, случайно чем-нибудь возбудившие подозрения уж очень усердных блюстителей порядка. Бедный мой Дима стал жертвой подобного усердия. Его высокий рост, светлые волосы и, главное, очки, по видимому, вызвали подозрение постового милиционера. Мы шли с Димой на вокзал, и я забежала в один магазин, он же остался ждать меня на улице. Выйдя через несколько минут, я увидела милиционера, требующего чего-то у перепуганного на смерть Димы. Я поспешила к ним. Милиционер уже собрался вести мальчика в милицию для выяснения личности, так как у Димы не оказалось никаких документов. Пришлось убеждать его и доказывать, что у Димы не может быть никакого паспорта, ибо ему

всего 15 лет. В подтверждение своих слов вытащила все документы и военный аттестат мужа, который теперь всегда ношу с собой. Удалось убедить, что Дима мой сын, а не немецкий шпион. Отпустил. Теперь надо быть осторожнее, Диме одному опасно показываться на улицах.

12 августа.

Сегодня оставили дачу. Уехали последними. Все, кто ещё рисковал пользоваться в этом году дачным отдыхом, раньше перебрались в город. Говорят, что вот-вот заберут Лугу. А после Луги до Ленинграда — рукой подать. Волнуюсь за Диму. В пятнадцать лет его могут отправить на рытьё окопов.

Немцы летают и целый день обстреливают из пулемётов. Какой смысл в этих окопах? Только губят людей.

13 августа.

Эвакуация продолжается, многие уезжают. Перебрасывают целиком крупные заводы со всем персоналом. Теперь меня угнетает то, что я решила оставаться в городе. Магазины уже далеко не так полны. Раскупают всё, даже дорогие продукты. Может быть, действительно лучше было уехать?

15 августа.

Как бы в ответ на мой мучительный вопрос сегодня получила повестку на обязательный выезд из Ленинграда. Разрешается взять всю семью. Направление можно выби-

рать самой. Могу выбрать Горький или Кавказ. И опять колеблюсь...

Ведь, если война идёт такими стремительными темпами, то, наверно, скоро кончится. Зачем же срываться с насиженного места? Может быть, целесообразнее переждать в своей квартире. Что делать?

17 августа.

Всё же пошла к доктору. Получила отсрочку до 23 августа. Ведь мне нужно выиграть время, чтобы ещё обдумать положение. Теперь в запасе шесть дней, могу спокойно решать что предпринять.

19 августа.

Всё свободное время трачу на беготню по добыче продуктов. Очень трудно доставать их. Даже в коммерческих магазинах. Масла, например, можно купить только сто граммов. Я всё-таки хочу сделать кое-какие запасы. Поэтому ежедневно приходится стоять в нескольких очередях. Нас навестила племянница мужа, Таня, со своей маленькой дочкой. Таня достала где-то в очереди печенья, поделилась с нами. Дети мирно играли, на миг казалось, что война с её ужасами далеко.

20 августа.

Каждый день эшелоны эвакуируемых уходят на восток. Заходил прощаться мой бывший сослуживец Мартынов. Он уезжает с Ворошиловским заводом куда-то на Урал. Уезжают театры. Мариинский отправлен в Пермь

Всё это усиливает тревогу, сомнения всё растут. Может быть, я делаю непоправимую ошибку, беря на себя ответственность за жизнь детей и всей семьи. Надо, наконец, на что-то решиться.

23 августа.

Ночью ушёл последний транспорт. Сегодня дорога уже отрезана. Ленинград окружён, и мы попали в ловушку. Что я натворила своей нерешительностью!

25 августа.

Горячка по закупке продуктов достигла невероятно высокого градуса. Всё исчезает. Случайно узнаёшь, например, что на Петроградской стороне что-то выдаётся — летишь туда. Оттуда — за Нарвскую заставу. Потом — на Васильевский остров. Скупаешь всё, что попадётся. Но ничего существенного, питательного достать невозможно. Магазины почти пусты. Всюду громадные очереди. Мгновенно создаётся толпа, если в коммерческом магазине появляется сахар или масло. Сегодня встретила мать Ирины, она шёпотом сообщила, что повсюду разбросаны листовки, в которых говорится о необходимости запастись продуктами только на две недели, а затем город будет захвачен немцами. Многие этому верят.

28 августа.

С утра до вечера в очередях. Ничего нового. Находимся в напряжённом ожидании.

1 сентября.

Сегодня закрыли все коммерческие магазины. Нормы продуктов по карточкам снова снижены. Необходимо добывать припасы другими путями. Многие ездят в окрестности, свободные от немцев, собирают там картофель и овощи на полях, оставленных населением.

5 сентября.

Вернулись в доисторическую эру: жизнь свелась к одному — поискам пищи. Подсчитала свои продовольственные ресурсы. Выходит, что моих запасов еле-еле хватит на месяц. Может быть, позднее положение изменится. А на какую перемену надеюсь — сама не знаю. Теперь вплотную подходим к самому страшному голоду. Завтра собираемся с Любочкой Тарновской поехать за город менять папиросы и водку, полученные нами в ларьке, на улице, напротив дома.

7 сентября.

Утром сидела с Юриком на бульваре: к нам подсел бывший мой однокурсник, Милорадович. Без предисловий завёл разговор о том, как он счастлив, что немцы уже стоят под городом, что их — несметная сила, что город будет сдан не сегодня — завтра. Хвалил меня, что я уехала. «А это на всякий случай, — показывает мне маленький револьвер, — если ожидания меня обманут».

Я не знала, как реагировать на его слова. Мы привыкли не доверять людям. А таких, вроде него, теперь много. С нетерпением ждут немцев, как спасителей.

Когда вернулась домой, застала у нас моего старенького дядю, доктора из города Пушкина. По совету знакомых он, несколько дней тому назад, приехал в Ленинград, как в более безопасное место, где легче можно пережить вторжение немцев. Но, осмотревшись, он решил отправиться домой. Поезда уже не ходят, единственный способ передвижения — пешком. Мы его уговариваем не рисковать, но он остается непреклонным: «Пусть умру у себя дома». А через несколько минут после его ухода загудела тревога, начали палить зенитки:*) вдалеке слышались разрывы бомб.

8 сентября.

Сегодня нам рассказали, что несколько немецких самолётов всё-таки прорвались к городу и бомбы были сброшены на Старо-Невском. Разрушены дома. Это сообщение произвело сильное и весьма неприятное впечатление, ибо поколебалась уверенность, что Ленинград так хорошо за-

*) Летом 1965 года, в советских газетах, была заметка, что в Пушкине умер старый русский доктор; по имени и фамилии я узнала своего дядю. Покинув нашу квартиру в Ленинграде 7 сентября 1941 года, он, по-видимому, благополучно добрался до Пушкина и прожил там ещё 24 года.

щищён, как нас стараются убедить. Стало ясно — какая угроза нависла над нами.

В городе усиленно говорят о листовках, которые сбрасывают немцы. Их находят в больших количествах. Содержание листовок — ультиматум: если до 9 сентября город не будет сдан, начнётся массовая бомбёжка.

9 сентября.

Вчера, в пять часов вечера, мы стояли на балконе: моя мать, тётка и я. Обсуждали наше безвыходное положение. Вдруг наше внимание привлекли светящиеся высоко в небе точки, которые быстро летели прямо на нас. Не успели мы их разглядеть, как загудела тревога. Пришлось спуститься в подвал. Видимо, это были разведчики, так как вскоре снова загудели сирены, а затем посыпались бомбы, стали рушиться дома. Несмотря на весь грохот, Юрик спал крепким сном. Мне жалко было его будить. Всё равно, надёжного убежища у нас в доме нет, в подвале не менее опасно, чем в квартире. Однако, грохот всё возрастал, налетали всё новые эскадрильи, бомбы сыпались непрерывно, зенитки разрывались — настоящее пекло. Вот-вот рухнет наш дом. Не выдержала — схватила спящего Юрика на руки и побежала в подвал. Там полно народу, особенно детей. Они громко плачут, прижимаются к обезумевшим матерям. При каждом новом взрыве женщины, из которых многие были коммунистками, судорожно крестятся, шепчут молитвы. В эти минуты антирелигиозная пропаганда забыта.

Бомбёжке, казалось, не будет конца. Сегодня узнали, что очень пострадал наш район, много разрушений. На нашей короткой улице превратились в руины четыре больших дома, стоявших рядом. Видела и соседние пострадавшие улицы. Некоторые картины мне навсегда врезались в память. Вот дом, разрушенный почти до основания. Но одна стена, оклеенная васильковыми обоями, уцелела. Даже картина на ней висит, не покосившись. От другого бывшего дома над грудой кирпича, цемента, балок, остался целый угол одной из верхних квартир. В углу икона, на полу детские игрушки, повсюду разбросанные, будто дети только что играли. Дальше — наполовину засыпанная обломками комната, но у стены кровать со взбитыми подушками и лампа. Случайно уцелевшие домашние вещи, открытые взору прохожих, — словно немые обличители того, что кто-то чужой, безжалостный ворвался в личную жизнь людей и варварски её изуродовал.

12 сентября.

Пишу через полчаса после нового налёта. Не знаю, сколько времени всё продолжалось, но через несколько минут после отбоя узнали, что пострадал огромный госпиталь в нескольких кварталах от нас. Его только вчера открыли, а сегодня перевезли туда раненых. Говорят, что бомбардировщики пикировали именно на это здание. Оно моментально запылало. Большинство раненых погибло, их не успели спасти.

А нам всё время говорили, что Ленинград недоступен, что налётов не будет. Вот и недоступен! Противовоздушная оборона оказалась мыльным пузырём. Гарантия безопасности — пустая фраза.

12 сентября, вечером.

Узнали о самом ужасном следствии сегодняшней бомбёжки: погибли Бадаевские склады. Там были сосредоточены все продовольственные ресурсы города. Не странно ли, что все запасы находились именно в этих, всему городу известных складах? Конечно, немцы на этот счёт были прекрасно осведомлены. Уничтожение Бадаевских складов грозит неминуемым голодом. Весь город затянут облаками дыма, пахнет горячей ветчиной, жжённым сахаром.

15 сентября.

Гибель Бадаевских складов уже сказывается. Дневная норма хлеба снижена до 250 граммов. Так как, кроме хлеба, почти ничего нет, то это снижение весьма ощутительно. Я ещё пытаюсь добывать картошку и овощи по окрестным сёлам взамен на вещи. До чего мучительны эти обмены! Вчера ходила целый день. У меня были папиросы, сапоги мужа и дамские чулки. Чувствуешь себя жалкой попрошайкой. Всюду надо уговаривать, буквально умолять. Крестьяне уже завалены прекрасными вещами, они и разговаривать не хотят. За короткий срок вернулся

страшный 1918 год. Тогда горожане, как нищие, выпрашивали в деревнях картофель и муку в обмен на ковры, меха, кольца, серьги и прочие ценные вещи. Измученная до последней степени, я наконец обменяла весь свой товар на пуд картошки и два литра молока. Не знаю, как долго я смогу заниматься подобной добычей.

20 сентября.

С каждым днём всё труднее. Вопрос питания — главный и единственный. Даже ежедневные бомбёжки не производят сильного впечатления — к ним привыкли. Все заняты только одной мыслью: где бы достать что-либо съедобное, чтобы не умереть с голоду. Самый ходкий предмет обмена — спирт. Правда, хорошего спирта уже не достать. Иногда в соседний ларёк привозят какую-то отвратительную вонючую жидкость, но весьма крепкую. За этим напитком стоят длиннейшие очереди. Я тоже стараюсь не пропустить ни одного такого счастливого случая, терпеливо стою в бесконечном хвосте. В одной деревне нашла пьяницу-старуху, которая за эту дрянь готова дать изрядное количество картошки. Счастье, что ещё водятся такие старухи.

25 сентября.

Сегодня забежала к нам взволнованная Ирина и сообщила печальное известие. Марина Толбузина — моя приятельница с раннего детства, погибла. Оказывается, Марина, с группой сослуживцев и со своей неразлучной

домработницей Тоней, была отправлена на рытьё окопов в окрестности Ленинграда. Проработав определённый срок, вся группа возвращалась по шоссе, когда с ними поровнялась красноармейская машина. Марина, изнемогавшая от усталости, попросила подвезти её и Тоню. Шофёр согласился. Машина обогнала шедшую группу, но не успела ещё скрыться за поворотом, как на глазах у всех, взлетела в воздух. Всё это сопровождалось грохотом и дымом, заслонившим автомобиль. Когда окопники поравнялись с местом происшествия, то не нашли и следов пассажиров. Задерживаться было невозможно, так как начинался сильный обстрел этого участка шоссе.

Вот то, что нам пришлось услышать. Погоревали о Марине — красивой, молодой, полной жизни женщине, так безвремененно погибшей... и опять вернулись к нашим повседневным заботам о спасении собственной жизни.*)

28 сентября.

Пошли упорные слухи, что норму хлеба ещё сбавят. Это уже катастрофа. В августе мне удалось купить не-

*) Впоследствии оказалось, что Марина, хотя и вылетела из машины, наскочившей по-видимому, на мину, но не погибла, как все предполагали. Каким-то способом она очутилась в придорожной канаве, где и пролежала без сознания до тех пор, когда один из немцев вытирал кровь и грязь с её разбитого лица и, приняв его за милиционера, она что-то спросила его по-русски. Каково же было её изумление, когда она услышала немецкую речь! После долгих скитаний и всевозможных передряг, Марина в 1953 году попала в Америку, где и живёт теперь.

сколько фунтов настоящего кофе. Теперь это наше спасение: выпьешь утром несколько чашек и почти целый день чувствуешь себя бодрой.

Появился татарин, который раньше скупал старые вещи. Принёс четыре плитки шоколада и продал их за деньги. Совершенно невероятное событие в наши дни, потому что деньги теперь уже ничего не стоят, единственной платой могут быть только вещи. Правда, за эти плитки он взял сто двадцать рублей — месячное жалованье уборщицы. Всё же считаю покупку большой удачей, сложила плитки в мешок, который беру с собой во время тревоги в подвал, на тот случай, что тревога будет продолжаться всю ночь.

30 сентября.

Пишу эти строки, лёжа в кровати. Вчера почувствовала ужасную слабость и решила прекратить всю свою деятельность и лечь, чтобы хоть немножко отдохнуть. Только что заходила Холмянская. Кто-то ей сказал, что я плохо себя чувствую, и она испугалась, что я слегла совсем от голода. Таких случаев теперь много: ложатся и уже больше нет сил встать. Холмянская с рыданиями бросилась мне на шею и умоляла подняться и продолжать вести нормальный образ жизни. Принесла мне громадный пакет всевозможной еды. Я не верила своим глазам, когда разворачивала и хлеб, и сахар, и жиры. Обещала ей, что завтра встану. Только бы сегодня дали выспаться!

2 октября.

Новая норма хлеба: 125 граммов для служащих и иждивенцев, 250 граммов для рабочих. Наша порция (125 граммов) — небольшой ломтик, как для бутерброда. Теперь мы начали делить хлеб между всеми домочадцами — каждый хочет распорядиться порцией по-своему. Например, моя мать старается разделить свой кусок на три приёма. Я съедаю всю порцию сразу утром за кофе: по крайней мере хотя бы в начале дня у меня хватает сил стоять в очередях или доставать что-нибудь путём обмена. Во второй половине дня я уже теряю силы, только лежу.

Сегодня зашла к одной подруге и узнала, что ночью умер её муж. Когда спросила отчего, она ответила очень просто: умер с голоду. Лёг вечером спать, она думала, что он заснул, а утром посмотрела — он мёртвый. Неужели всех нас это ожидает?

Никаких изменений на фронте нет. Немцы окружили город. Бомбят каждый день с немецкой аккуратностью — ровно в семь часов вечера. Вероятно, хотят нас взять измором. Моментально после сигнала тревоги сыплются бомбы. Наша оборона даже предупредить не может. Хотя подвал отнюдь не защита, но стадное чувство гонит нас вниз.

6 октября.

Население нашей квартиры всё растёт. Переехали дети двоюродной сестры Ляли. Вселились в комнату, занимаемую моей тёткой и её мужем. Размер комнаты — две-

надцать метров. Как они там все будут жить? Воздуха не хватит на всех. Теперь об этом, правда, никто не думает. Люди, как животные — в минуту опасности льнут друг к другу, повторяют: «в тесноте, да не в обиде». Ляля тоже, кажется, на днях переезжает к нам. С начала войны она жила отдельно от детей: сама целый день на работе, а дети находились у подруги, которая не служит. Но на днях в этот дом попала бомба. Дети, к счастью, были в подвале. Их еле спасли, так как лопнули трубы и весь подвал был затоплен.

Сегодня явился опять татарин. Принёс килограмм конины в обмен на бутылку красного вина, которая у нас случайно осталась от лучших времён.

8 октября.

Буквально на глазах люди звереют. Кто бы подумал, что Ирина Левицкая, ещё недавно такая спокойная, красивая женщина, способна бить своего мужа, которого всегда обожала? И за что? За то, что он всё время хочет есть, никогда не может насытиться. Он только и ждёт, когда она что-нибудь достанет. Она не успеет войти в квартиру, как он бросается на еду. Конечно, она и сама голодная. А голодному человеку трудно лишиться последнего куса.*)

*) Ирина не погибла во время осады. Изнурённую до последней степени, в мае 1942 года мой муж устроил её в больницу. Несколько месяцев она была на краю гибели, но молодой организм

У нас в квартире самое удручающее впечатление производит семья Куракиных. Он, вернувшийся из ссылки, измождённый годами тюрьмы, уже начинает опухать, просто страшен. От прежней любви его жены уже ничего не осталось. Она всё время раздражена, ссорится. Дети плачут, просят есть и получают подзатыльники.

Однако Куракины не исключение: почти все люди стали другими в результате голода, блокады, безвыходного положения.*)

Меня поражает мой муж. Он выделяется среди людей, потерявших человеческий образ. Выделяется уже тем, что не изменился в своих отношениях к окружающим. Питание военных тоже далеко не блестяще. На завтрак им дают чашку жидкой каши. И он её не ест, приносит нашему Юре. У него одна забота — поддержать кого только можно. Часто появляется дома по вечерам во время тревог, боится, что я не уйду в подвал. Он прав: я не верю в спасительность нашего подвала, но в таких случаях, для успокоения мужа, забираю мальчиков и со всеми домочадцами тащусь в подвал. В последнее время там приходится сидеть чуть ли не ежедневно с семи часов вечера до двенадцати ночи. Немцы не делают передышки и заты-

всё-таки победил. Ирина поправилась и в 1944 году, когда моим мужем было получено ложное известие о моей и мальчиков гибели, она вышла за него замуж.

*) Относительно Куракиных знаю, что им удалось эвакуироваться несколькими днями позже меня. Их дальнейшая судьба мне неизвестна.

гивают бомбёжку на несколько часов. Зато, когда ложишься спать, не так сильно чувствуешь голод. Поэтому часто стараюсь избежать этих походов в подвал и лечь в постель пораньше. Если удаётся заснуть, то вижу во сне стол, полный всевозможных закусок, ешь все эти вкусные вещи и просыпаться не хочется. А когда откроешь глаза, опять эта мрачная действительность и ноющее чувство голода.

Выдержим ли? Главное и единственное желание — не потерять детей, не видеть их гибель.

12 октября.

Кончился картофель. Запасы крупы иссякли раньше. В кооперативах по карточкам получить ничего нельзя. Но очереди колоссальные, когда появляется в продаже что-нибудь съедобное, даже малостоящее. Сильные выталкивают слабых. Женщинам почти невозможно попасть в двери магазинов. Иногда приходится занимать очередь в четыре часа утра. Муж предложил мне устроить пропуск в военную столовую, где можно получать обеды вместо сухих продуктов, полагающихся по карточкам. Для нашей семьи это выходит восемь тарелок супа и четыре тарелки каши на десять дней. Конечно, это лучше, чем ничего.

18 октября.

Вот уже несколько дней у меня добавочное занятие — ходить за едой. Трудно рассчитать так, чтобы талонов

хватило на декаду. Дома суп, принесённый из столовой, приходится разбавлять водой. Беру два бидона и отправляюсь в далёкое путешествие со стоянием в очереди по несколько часов. Теперь в деревню не поедешь. Эти экскурсии утратили смысл — крестьяне окончательно прекратили обмен. Сами опасаются остаться ни с чем.

26 октября.

Сегодня день рождения Димы. Людмила, работающая в столовой, принесла ему в подарок немного дичи. Вот это было пиршество!

28 октября.

Умер муж Ирины Левицкой. Она даже не огорчена.

1 ноября.

Так ежедневно — около семи часов вечера воют sireны. Моя мать спешит пообедать к шести часам. Потом собирает самые необходимые вещи и сидит в пальто, наготове. Уверяет, что это ей напоминает сборы к пасхальной заутрени. С первым сигналом тревоги перебираемся вниз. Соседи перетаскивают с креслом больного дядюшку, со стоном плетутся старухи. Особенно стонет наша бывшая домовладелица, которая с нетерпением ждёт немцев. Потом сыплются бомбы, разрушается прелестный, лучший город нашей страны.

3 ноября.

Почти все мужчины стали нетрудоспособными, многие уже слегли. Давно не поднимается с постели наш дворник, дворы вообще перестали приводить в порядок. Повсюду сплошная мерзость запустения. Почти каждый день сообщают, что умер тот или иной знакомый. В нашем доме уже умерло несколько человек. Мы ждём выдачи каких-либо продуктов к Октябрьской годовщине. Об этом много говорят. Надеются на масло, вино, сладости.

6 ноября.

Тарновская встала сегодня в четыре часа утра. С помощью сына и энергичной невестки ворвалась в кооператив.*) Получила себе и нам масло. Просто невероятное событие! Не даёт покоя желание съесть всё сразу, но надо как-то растянуть. Юра Тарновский с 20 октября устроил фиктивно моего Диму к себе в мастерскую. Хотя мастер-

*) Из всей семьи Тарновских уцелела одна Любочка — жена Юрия. Мать Юрия, Зоя Михайловна, умерла в январе, в Ленинграде. Где-то ей удалось получить мяса (неизвестно какого). Она сварила суп и довольно много съела его. Вскоре слегла. У неё обнаружилась дистрофия. Через несколько дней она скончалась. Вскоре и сын её, Юра, тоже слёг. Любочка, воспользовавшись возможностью эвакуироваться с другими студентами, покинула Юру и уехала в Ярославль, к матери. Обо всём этом я узнала из письма Любочки, полученного мною летом 1942 года, на Кавказе.

ская находится ещё в периоде организации, но Дима уже считается рабочим и получает вместо 125 граммов хлеба — 250. Это очень важно для Димы. Он всегда обладал завидным аппетитом, и когда перешли на голодный паёк, то быстро сдал. Меня приводит в отчаяние его полнейшая апатия. Он перестал чем-либо интересоваться, читать, даже разговаривать. Трудно поверить — даже к бомбёжкам он относится равнодушно. Единственно, что может вывести его из равновесия, это — еда. Целый день он голоден, шарит по шкафам, ищет съедобное. Ничего не найдя, начинает жевать кофейную гущу или эту ужасную дуранду (жмыхи), которую раньше ели только коровы. Дуранду теперь ест весь Ленинград. За неё отдают что угодно: чулки, обувь, отрезы материи. Отнесёшь на рынок какую-либо ценную вещь и получаешь взамен кусок этого вещества, такого жёсткого, что не только откусить, но и топором не отрубить. Начинаешь строгать, как кусок дерева. Получается что-то вроде опилок. И вот из них пекут лепёшки. На вкус они ужасны, а после того, как съешь, начинается изжога. Хлеб выдается тоже малосъедобный: муки в нём самый минимальный процент, а больше жмыхов и почему-то целлулоид и ещё какая-то неизвестная, невообразимая смесь. В результате такого состава, хлеб сырой и тяжёлый. И всё-таки люди готовы из-за него перегрызть друг другу горло. Утром, по дороге из булочной, тщательно прячешь его: было не мало случаев, когда на улице хлеб отнимали.

7 ноября.

Как мы и предполагали, в Октябрьскую годовщину немцы бомбили интенсивнее и беспощаднее, чем обычно. Особенно отличались они вчера вечером: налетели тучи самолётов, воздух гудел от множества машин. В сотый и тысячный раз задаёшь себе вопрос: где же наша противовоздушная оборона? Почему не видно советских истребителей? Немцы летают, как дома, а наши зенитки палят впустую, только усиливают шум.

Сегодня, с помощью Тарновской, старалась вернуть к жизни нашего Диму. Зоя Михайловна энергична и не теряет своего оптимизма. Она твёрдо верит, что война скоро кончится, что Ленинград всё же будет взят немцами. Надо потерпеть ещё некоторое время. Она старалась всё это внушить Диме, даже сердилась и кричала на него. Потом начала умолять подтянуться ради меня, более бодро относиться ко всем лишениям. Как могла, я поддерживала её, но на Диму это всё не произвело никакого впечатления.

Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают. Я особенно боюсь этой апатии у Димы. Его нельзя узнать. Ещё в конце августа и в сентябре, он носился по всему городу, выискивал продукты, интересовался военными сводками, встречался с мальчишками-товарищами. Теперь он — форменный старик, вечно мёрзнувший. Целыми днями он стоит в ватнике у печки,

бледный, со страшной синевой под глазами. Если так будет продолжаться, он погибнет. Делаю всё возможное, чтобы его лучше кормить, но всего этого слишком мало. Вот наш жилец, Юра Тарновский, например, ходит каждый день в одну столовую, где съедает по шесть-семь тарелок дрожжевого супа, который можно получить без карточек. Трудно себе представить это «лакомое» блюдо голодного Ленинграда: дрожжи и вода. После еды люди распухают, а в смысле питательности эта еда — ничто, нуль калорийности. Но я хотела бы, чтобы и мой Дима, по примеру Тарновского, охотился за этим супом, — может быть, хоть это выводило бы его из состояния страшного безразличия.

10 ноября.

Нас просто засыпают зажигательными бомбами. Раньше дежурили на крыше все мальчики нашего дома: Серёжа, друг Димы, сам Дима, сын артистки с третьего этажа — бойкий, здоровый мальчик, и многие другие в возрасте от 12 до 16 лет. Теперь почти все слегли. С бомбами борются женщины, которые оказались самыми выносливыми. Вчера загорелся наш дровяной сарай. Удалось отстоять. Единственной жертвой этого пожара оказался наш матрац, вынесенный туда за отсутствием места в нашей перенаселённой квартире. Хорошо ещё что не сгорели дрова, которые нам накануне привезли.

12 ноября.

Заходила к одной знакомой, и она меня угощала новым кулинарным изобретением — желе из кожаных ремней. Рецепт изготовления таков: вывариваются ремни из свиной кожи и приготавливается нечто вроде холодца. Эту гадость описать невозможно! Цвет желтоватый, запах отвратительный. При всём моём голоде я не могла проглотить даже одной ложки, давилась. Мои знакомые удивлялись моему отвращению, сами они всё время этим питаются. Говорят, что эта масса в больших количествах продаётся на рынке. Но я на рынок не хожу: менять абсолютно нечего. То, что я могу предложить, не интересует покупателей. А рынки завалены прекрасными вещами: материи высокого качества, отрезки на костюмы и пальто, дорогие платья, меха. Только за подобные вещи можно получить хлеб и постное масло. Уже не по слухам, а по достоверным источникам, то есть по сведениям из районов милиции, известно, что на рынке появилось много колбасы, холодца и тому подобного, изготовленного из человеческого мяса. Рассудок допускает даже эту страшную возможность: люди дошли до предела и способны на всё. Муж меня уже предупредил, чтобы я не пускала Юрочку на прогулки далеко от дома и даже с няней. Первыми начали исчезать дети.

15 ноября.

Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, когда я проходила по улице, передо мной

шёл человек. Он еле передвигал ноги. Обгоняя его, я невольно обратила внимание на жуткое синее лицо. Подумала про себя: наверное скоро умрёт. Тут действительно можно было сказать, что на лице человека лежала печать смерти. Через несколько шагов я обернулась, остановилась, следила за ним. Он опустился на тумбу, глаза закатились, потом он медленно стал сползать на землю. Когда я подошла к нему, он был уже мёртв. Люди от голода настолько ослабели, что не сопротивляются смерти. Умирают так, как будто засыпают. А окружающие, полуживые люди, не обращают на них никакого внимания. Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. К ней привыкли, появилось полное равнодушие: ведь не сегодня — завтра такая участь ожидает каждого. Когда утром выходишь из дому, натыкаешься на трупы, лежащие в подворотне, на улице. Трупы долго лежат, так как некому их убирать.

20 ноября.

Муж договорился с начальником госпиталя на Петроградской стороне, чтобы Диму приняли курьером. Дима будет получать там завтрак, состоящий из мясного супа. Это очень важно. Может быть, работа спасёт Диму. Будет отвлекать его. Главное же, это то, что он будет получать добавочную еду. Я больше не имею возможности дать ему что-либо после утреннего завтрака. Наше «меню» сошло на утренний кофе с порцией хлеба, выдаваемого на день,

и в шесть часов вечера мы съедаем суп, который я приношу из столовой. Врачи уверяют, что, если брать два раза в неделю ванну и выпивать в день до трёх стаканов жидкости, то можно прожить несколько месяцев. Я очень сомневаюсь в этом. Может быть, такой рецепт имеет смысл, если всё время лежать, но мне, например, приходится без конца бегать, чтобы добыть то минимальное, что поддерживает жизнь. За одним хлебом стоишь в очереди часами. Часто нужно обегать несколько булочных, так как бывают перебои. Водопроводные трубы лопаются, и за водой приходится ходить на Неву. Всё это требует от нас, жителей Ленинграда, напряжения сил. С одними дровами какая история! Ведь некому помочь, когда их, наконец, доставят и сбросят во дворе. Все эти заботы — пилить, рубить, переносить в сарай и в квартиру, — всё это лежит на женщинах. У нас эту тяжёлую работу выполняют двое: няня, которая ещё держится на ногах, и маленький Юрик, ослабевший менее других. Вот они вдвоём пилят, колют и перетаскивают по одному тяжёлые, промёрзшие поленья. Юрик, вместе с няней, даже убирает двор, так как дворник слёг, по-видимому, безнадежно. Таким образом пятилетний мальчик работает, как взрослый.

24 ноября.

Дима окончательно отказался ходить в подвал во время налётов. Он возвращается с работы настолько усталым, что не может двигаться. Сразу после еды ложится в пос-

тель и просит, чтобы его не тревожили. Что-то с его работой не клеится, получается не так, как предполагалось: в госпиталь приходится ходить очень далеко, его посылают, как курьера в разные концы города, а трамваи часто не ходят. Наконец, обижают его и с обедом: заведующая буфетом всячески старается не выдать положенной тарелки супа. Только тогда, когда он приходит вместе с сыном начальника госпиталя, то получает всё, вплоть до котлеты. Недаром сын этого начальника такой краснощёкий и упитанный, даже не верится, что он ленинградский житель.

26 ноября.

Неожиданно в дверь постучал совершенно незнакомый красноармеец и дал ведро кислой капусты, которую нёс со всеми предосторожностями. Конечно, это событие, но есть капусту придётся без хлеба и картошки — ни того, ни другого нет.

Смертность растёт. Говорят, что ежедневно умирает до трёх тысяч человек. Думаю, что это не преувеличение — город буквально завален трупами. Родственники или знакомые везут хоронить покойников на маленьких салазках, связывая по два, даже по три трупа. Можно встретить порой и большие сани, на которых покойники уложены, как дрова, и прикрыты сверху парусиной. Из-под парусины торчат голые синие ноги — убеждаешься, что это не дрова.

Смерть видишь каждый день так близко, что перестаёшь реагировать на неё. Исчезло чувство жалости. Всё

стало безразличным. Главное же, — непроходящее сознание того, что вряд ли мы избежим общей участи, рано или поздно и нас вывезут таким же способом и свалят в общую яму. Хоронить каждого покойника отдельно уже нет никакой возможности — гробов не хватает. Если родственники хотят хоронить по всем правилам, то должны ждать, когда освободится гроб, то есть когда донесут до могилы «предыдущего» покойника, вынут из гроба, засыплют землёй, а гроб передадут в очередь.

29 ноября.

Нежданно-негаданно появилась моя бывшая домработница Маруся. Пришла с караваем хлеба и объёмистым кульком пшена. Марусю не узнать. Совсем не та босоногая неряха, какой я её знала. На ней беличий жакет, нарядное шёлковое платье, дорогой пуховый платок. А ко всему этому — цветущий вид. Словно она приехала с курорта. Никак не похожа на обитательницу голодного, окружённого врагами, города. Спрашиваю: откуда всё это? Оказывается, дело обстоит довольно просто. Она работает на продовольственном складе, заведующий складом в неё влюблён. Когда уходящих с работы обыскивают, то Марусю осматривают только для вида, и она выносит под своей меховой кофточкой по несколько килограммов масла, кульки с крупой и рисом, консервы. Однажды, говорит, ей удалось даже протащить несколько кур. Всё это она приносит домой, а вечером начальство приходит к ней

ужинать и развлекаться. Сначала Маруся жила в общезитии, но её бригадирша, учтя все выгоды совместного житья, пригласила Марусю жить в свою квартиру. Теперь эта бригадирша пользуется богатой Марусиной жатвой, прикармливает даже своих родственников и знакомых. Как видно, это очень оборотистая особа. Она полностью завладела глупой и добродушной Марусей и в виде особой милости порой обменивает продукты на различные вещи. Так улучшился гардероб Маруси, которая в восторге от этих обменов и мало интересуется тем, куда идёт её богатая добыча. Всё это, в очень наивной форме, Маруся рассказывает мне, добавляя, что теперь она постарается, чтобы мои дети не голодали.

Сейчас, когда я пишу это, то думаю о том, что творится в нашем несчастном, обречённом городе: умирают тысячи людей ежедневно, а какие-то отдельные люди в этих условиях имеют богатейшую выгоду. Правда, во время посещения Маруси мне эти мысли не приходили в голову. Больше того, я умоляла её не забывать нас, предлагала ей любые вещи, какие только могут её заинтересовать.

1 декабря.

Наш любимый дворник совсем плох. Сегодня отнесла ему тарелку каши, которая сварена из пшена, полученного от Маруси. Он не может нахвалиться Юрой. Так и говорит: «Могу спокойно болеть, за меня Юрочка всё сделает».

6 декабря.

Ночью пришлось пережить нечто такое, чего до сих пор не было. Я легла спать около десяти часов вечера. Выключила радио, как это обычно делаю, чтобы не слышать гудков тревоги, потому что в последнее время чувствую, как силы начинают покидать меня. Я не в состоянии проводить вечера и часть ночи на стуле в подвале, качаясь от сна. Из-за этого у нас уже было несколько неприятных разговоров с двоюродной сестрой Людмилой, которая живёт у нас и спит в соседней с моей комнате. Она боится проспать тревогу. При первых сигналах она мчится в подвал, забирая обоих детей. Вчера она не заметила моего манёвра и улеглась спать. В одиннадцать я проснулась от страшного грома и треска. Решила, что дом рушится и мы все гибнем под развалинами. Порыв ветра сорвал занавески. Со стен посыпались картины и портреты. На улице были слышны чьи-то крики о помощи. Я вскочила с постели, схватила спящего Юрика, готова была бежать с ним куда угодно, не сознавая даже куда можно бежать. Очутилась в коридоре. Там царило полное смятение. Люди бегают, кричат, плачут — ничего нельзя понять. Через несколько минут выяснилось, что бомба попала в соседний дом, во всём квартале выбиты окна, вырваны рамы и двери. Много убитых и раненых. Все трудоспособные люди из нашего дома побежали оказать помощь пострадавшим. У нас внизу, в подвале, оборудовали нечто вроде пункта первой помощи. Вносили стону-

щих раненых людей. Были собраны дети со всего квартала. Они кричали и плакали. А сигналы всё продолжались, бомбы сыпались без конца. Только в два часа ночи мы вернулись в свою квартиру. Она стала неузнаваемой. По всему фасаду были выбиты окна, пол засыпан осколками стекла, холод такой, как на улице, спать негде. Еле устроились на кухне и в коридоре. До утра не сомкнули глаз. Ко всем невзгодам прибавилась ещё одна — полная тьма. О том, чтобы вставить стёкла, нечего было и мечтать — уже давно Ленинград забит фанерой. А мороз жестокий, дрова все вышли. Как сможем обогреть свою квартиру? Ведь единственное, что у нас оставалось, — это уютные комнаты. Теперь лишились и этого. А что ещё суждено пережить?

7 декабря.

До чего больно смотреть на стариков и старушек, живущих в нашей квартире. Бывшая домовладелица, Анастасия Владимировна, которая критически улыбалась в первую ночь войны, теперь медленно умирает. Хотя она всё же полна надежды, что переживёт эти страшные дни. Больше всего она боится, что нам удастся, тем или иным путём, эвакуироваться, а она останется одна. Ведь пока мы здесь, она получает свою тарелку супа. Я приношу ей и микроскопическую порцию хлеба, за которым стою в очереди. Таким образом старушка может существовать. Если мы уедем, — ей конец. Несмотря на своё, казалось бы,

обречённое положение, она всё же не хочет умирать. Она ждёт конца войны, то есть победы Германии.

Есть у нас и другая старушка — эстонка Каролина. Когда-то она служила в качестве экономки у одного русского князя. Теперь она получает пожизненную пенсию от бывшего управляющего этой бывшей княжеской семьи. Пенсия даёт ей возможность безбедно существовать на протяжении всех послереволюционных лет. Кроме этой пенсии, она получает ещё советскую — четырнадцать рублей в месяц. Этих рублей хватает на уплату комнаты и электричества. Но, благодаря заграничной помощи, у старушки достаточно денег. На днях, узнав, что на рынке можно достать хлеб «по-чёрному» (600 рублей килограмм), она попросила, чтобы ей достать его. После того, как я исполнила её просьбу, произошла трагедия: хлеб был нарезан ломтиками и положен на плиту, чтобы получились гренки, а девчонка-соседка несколько ломтиков стащила. Горе старухи трудно передать словами. Целый день она лежит на кухонном столе (в её комнате тоже выбиты окна), беспрерывно стонет, всё время говорит о пропавших ломтиках хлеба. Вероятно, если бы у неё умер самый близкий человек, она страдала бы не так сильно.

10 декабря.

На нашей кухне творится нечто непостижимое. Четыре хозяйки на одной плите стараются что-то готовить: варят жмыхи, пекут из них лепёшки, разогревают суп, при-

несённый из столовых, спорят, всё время стонут и твердят об еде. Тут же дети, которых невозможно выпроводить из тёплой кухни. Особенное, общее раздражение вызывает старшая дочь Куракиной, которая и раньше не была на руку чиста, а теперь тем паче — всё время норовит стащить что-либо у соседей. Хозяйки боятся отойти на шаг от приготовляемой жалкой еды. Электричество потухло. В кухне полутьма, в которой трудно уследить за действиями «хищников» вроде Куракиной.

15 декабря.

Дима взял больничный лист. Он уже не в силах ходить на свою работу. Вчера муж случайно встретил его на улице. Мальчик падал в сугробы, с трудом подымался и падал опять. Хорошо, что он встретил отца, который взял его под руку и дотащил до дому. А то, пожалуй, один и не добрался бы, умер бы, как умирают тысячи ежедневно на улицах Ленинграда. Я тоже больше всего боюсь присесть на улице, хотя порой буквально падаю от усталости.

Уговорила Диму пойти в больницу. Он вернулся в ужасном состоянии. Больница полна мертвецов. Трупы лежат на полу, на лестницах, во всех проходах. Дима не мог переступить через них, поспешил вернуться домой.

16 декабря.

Дима слёг окончательно. Лежит и молчит, уткнувшись головой в подушку. Теперь он не встаёт для поисков ка-

кой-нибудь еды в шкафах и буфете. Может быть, ещё и потому, что уверен в полном отсутствии съедобного. А может быть потому, что больше нет сил. Я с ужасом смотрю на него. Боюсь, что он погибнет. Как же ему вынести голод, — ведь он такой высокий, худой, невероятно жалкий. Мальчика не узнать. Ещё недавно он был жизнерадостным, бегал в школу, прекрасно учился, всем интересовался.

17 декабря.

Прекратились тревоги и налёты. Говорят, из-за холодов. Однако, настроение не улучшается. Голод и смертность растут с каждым днём. Вчера вечером Ляля вернулась очень взволнованная. Было уже темно, когда она возвращалась со службы. Она торопилась. И вдруг к ней бросилась женщина, повисла на её руке. Людмила сначала не могла понять в чём дело, но женщина заплетающимся языком объяснила, что от страшной слабости она дальше не может идти и просит ей помочь. Людмила ответила, что у неё самой едва хватает сил добраться домой. Но женщина не отставала, уцепилась, как клещ. Все старания освободиться от неё не приводили ни к чему. Женщина, держась за Людмилу, тянула в сторону, противоположную от нашей квартиры. В конце концов, всё же Людмиле удалось вырваться. Спотыкаясь в сугробах, она бросилась бежать. Когда я открыла ей дверь, на неё было страшно смотреть. Бледная, с глазами полными ужаса, она еле пе-

реводила дыхание. Рассказывая происшедшее с ней, она всё время повторяла: «Она умрёт, она сегодня же умрёт!». Я догадывалась о двух противоречивых чувствах, которые боролись в ней: радость, что удалось вырваться, что она жива — и тягостные мысли о женщине, которую ей пришлось бросить на произвол судьбы, и даже на верную смерть, в эту холодную декабрьскую ночь.

26 декабря.

Умерла наша соседка, старушка Каролина. Не помогли ей сбережения, которые откладывала она из княжеской пенсии. Перед смертью мы общими усилиями перетащили её из кухни, где она лежала на столе, устроили её в комнате с окнами, забитыми фанерой. Укутанная платками, шальями и одеялами, старушка пролежала ещё сутки. Непрерывно бормотала какие-то эстонские молитвы или, может быть, проклятия. Мне становилось страшно, когда я заходила её проведать. Нужно было сделать невероятное усилие над собой, чтобы войти в эту мрачную комнату, подойти к кровати, проверить живёт ли ещё это существо, уже потерявшее человеческий облик.

Вчера вечером мне удалось по карточкам получить кильки. Так как у меня была и карточка Каролины, то я решила попробовать покормить её. Трудно представить, с какой жадностью она, уже полутруп, поглощала еду. Даже жутко было смотреть, как она запихивала в рот эти кильки. А через час она скончалась.

27 декабря.

Уже два дня мёртвая Каролина лежит на своей постели, — хоронить некому. Как ни старались вызвать её родственников, они не приходят. Милиция и домоуправление не успевают убирать покойников. Что же будет дальше с нашим городом, если смертность будет всё расти?

Люди стоят в очередях угрюмо и молча. Не слышно даже обычной перебранки. Все ослабели, отупели, устали настолько, что стали совершенно равнодушными ко всему, что может с ними случиться.

28 декабря.

Сегодня на рассвете меня разбудил вопль соседки Куракиной: «Скорей вставайте, бегите за хлебом, прибавка!». Об этой долгожданной прибавке уже много говорили, но никто не верил. Оказывается, всё же прибавили: иждивенцы будут получать двести граммов, рабочие — триста пятьдесят. Но тепер уже очень многих это спасти не может.

1 января 1942 года.

Вчера мы встретили Новый год. Трудно представить себе более мрачную встречу. От предпраздничной выдачи у нас ничего не осталось. Да и сама выдача была крайне бедной. Нам выдали по бутылке красного вина и по маленькому пакетику конфет. Решили не ждать традиционных двенадцати часов, — легли спать в десять. Спим мы

в комнате с выбитыми окнами. На ночь не раздеваемся, а наоборот, надеваем на себя всё, что только можно. Я, например, сплю в меховой куртке, в большом платке и в валенках, а сверху ещё покрываюсь одеялами. Рядом кроватка Юрочки. У него виден только носик, прислушиваюсь к его дыханию, проверяю — жив ли он.

Около двенадцати проснулась от какого-то шороха. Увидела мужа: он сидел за столом, в шинели, перед ним одиноко горела свечка. Сгорбленный, усталый, он глядел в одну точку. Сердце могло разорваться от жалости к нему и к нам, и ко всем другим, попавшим в страшную мышшеловку. Перед мужем на столе лежали три чёрных солдатских сухаря. Это — принесённое им новогоднее угощение. Захотел этот вечер провести в семье. Ведь существует же поверье: с кем встретишь Новый год, с тем на весь год и останешься... В эту ночь я так и не заснула. Мысли лезли в голову и не давали покоя. Обидно и нелепо казалось умереть от голода, а надежд на благополучный исход уже не было. Силы покидают нас с каждым днём.

3 января.

По пути в столовую зашла к моей хорошей знакомой и одновременно портнихе, Надежде Ивановне. Несколько дней тому назад она была у нас и, видя состояние Димы, пыталась всячески ободрить его, сулила близкие и хорошие перемены: «Подтянись, Дима, скоро будет лучше, хлеба ещё прибавят, откроется дорога. Слышал, наверное,

как бьются за Тихвин. Тогда из Ленинграда будет путь открыт». Дима тупо молчал. Он больше никому и ничему не верит. Но бодрый тон и уверенность Надежды Ивановны на меня подействовали. Я решила сегодня зайти к ней, чтобы немножко поднять своё настроение. Это так важно — услышать ободряющее слово! Когда я позвонила, мне открыла дверь старшая сестра. Она молча ввела меня в столовую и показалась мне как-будто ненормальной. На столе стояли два гроба. В одном лежала моя милая и такая бодрая Надежда Ивановна, а в другом — её младшая сестра, которую я тоже всего лишь несколько дней тому назад видела здоровой.

6 января.

Сегодня навестила наших больших друзей, Левицких. Как только увидела отца своей подруги Ирины, сердце сжалось недобрým предчувствием: по всему видно, что он ближайший кандидат на тот свет. Долго не продержится. Так постепенно уходят все, с кем мы провели нашу юность, с кем связаны лучшими воспоминаниями многих лет. И вот я вижу этого Николая Георгиевича, у которого нет больше сил двигаться, который уже неспособен что-либо делать, а жена его сердится, заставляет куда-то идти, добывать дрова. Эта картина была настолько тяжёлой, что я поспешила уйти. Узнала, что на днях умерла сестра Николая Георгиевича. Нам об этом никто даже своевременно не сообщил. Впрочем, не было в этом и смысла, всё равно

на кладбище никто не пойдёт: нет сил, а кроме того, стоят лютые морозы.*)

7 января.

Примерно час тому назад заходил приятель мужа, Пётр Яковлевич Иванов. Этот, всегда весёлый энергичный молодой человек изменился до неузнаваемости: худой, бледный и какой-то странный. Точно голод превращает всех людей в ненормальных. Оказывается, он пришёл узнать, существует ли ещё большой серый кот, который принадлежал одной артистке, живущей в нашем доме. Он ещё надеялся, что кот не съеден, так как знал, как эта артистка его обожала. Мне пришлось его разочаровать — ни одного живого существа, кроме людей, еле передвигающих ноги, в нашем доме не осталось. Все животные съедены либо обитателями нашего дома, либо энергичными соседями. И начало этому положил сын именно этой артистки. Он особенно изощрялся в охоте на птиц, переловил каких можно было, а потом перешёл на собак и кошек. Я уверена, что он не помиловал любимца матери, тем более, что это был очень большой и жирный кот. Теперь в Ленинграде нельзя встретить ни кошки, ни собаки. Мы, надо сказать, до сих пор не лакомились этими животными. Не потому, что не хотели, а потому, что не имели возможности их поймать.

*) Моё предчувствие не обмануло меня. Николай Георгиевич скончался в феврале, через несколько дней после нашего отъезда.

Вчера на улице встретила нашего хорошего друга — Фёдора Михайловича. Тоже поразились его видом. Ходит с палкой, имеет вид древнего старика, а ему, пожалуй, ещё нет сорока лет. Рассказал, что по просьбе Ирины Левицкой, отыскал где-то кошку и отнёс им. Трудно себе представить, что Ирина, которая ещё совсем недавно посмеивалась над страхами наступающего голода и уверяла, что в Ленинграде всегда найдутся люди, которые помогут и накормят, — теперь позарилась на кошку. Конечно, Ирина в своё время не принимала во внимание того, что голодать могут все поголовно. Исключение представляют только лишь большие начальники и те случайные лица, которые работают в различных складах и в распределителях. Оказывается, Федя сохранил остаток своих сил лишь потому, что знакомый татарин продаёт ему хлеб по шестьсот рублей за фунт. Чтобы располагать такими огромными деньгами, Федя постепенно распродаёт замечательную коллекцию картин, оставленную ему в наследство отцом. «Чёрные цены» растут.

8 января.

Прошло почти две недели со дня смерти Каролины, а она всё ещё лежит на своей кровати — её никто не хоронит. Благодаря свирепым морозам и тому, что все окна выбиты, труп Каролины не разлагается. Однако до каких пор это может продолжаться?

Диму, наконец, удалось устроить в госпиталь. Муж при-

ложил все старания и с большим трудом добился того, что Дима помещён в лазарет для раненых бойцов. Так как теперь средств передвижения уже не существует, то мне пришлось вести мальчика на Петроградскую сторону под руку. Эта дорога была сплошным кошмаром: Дима еле передвигал своими опухшими ногами, всей тяжестью наваливался на меня. Он настолько плохо выглядит, что даже привыкшие уже ко всему ленинградцы постоянно на нас оглядывались. Лицо у Димы сине-чёрное, опухшее, глаза неживые. Шли мы целых три часа. Конечно, в госпитале было ещё много всяких осложнений. Свободной постели не нашлось, пришлось положить Диму в коридоре. Кроме того понадобилось заполнить множество всяких анкет. Очень опасаясь, что Диме не поправить своего здоровья. Зашла в комнату заведующего госпиталем, Ешкелева. С ним вместе живёт сын, здоровый цветущий мальчишка, который, несмотря на поздний час, был ещё в кровати и уплетал бутерброды с ветчиной и сыром. Не поверила своим глазам, но это было так. Ведь мы уже забыли, как выглядят сыр и ветчина. Его отец, смутившись моим поражённым видом, сочинил историю о том, как мальчик чуть не погиб — потеряв свою хлебную карточку и не желая признаться в этом, он будто бы ничего не ел на протяжении двух недель. Я подумала о несчастных раненых и больных, лежащих в коридорах госпиталя, о людях, у которых этот начальник, пользуясь своим положением, отбирает питание для своего здорового сына. А ведь это делается кругом. Тот, кто стоит у власти или может распо-

ряжаться продовольствием, всю пользуется своим привилегированным положением. Им-то нет никакого дела до того, что люди гибнут, как мухи. И сама-то я хороша: выражаю сочувствие его сыну, потому что от отца-начальника теперь зависит жизнь Димы.

13 января.

Наконец-то похоронили Каролину. Наша энергичная управляющая домом разыскала какую-то племянницу покойной, подействовала на неё соответствующим образом, и эта племянница явилась уже с гробом и увезла старушку. Обитатели нашей квартиры обрадовались — покойница вывезена.

Сегодня, когда шла из столовой, поразила тем, что буквально на каждом шагу встречала детские салазки с покойниками. Этих несчастных жертв голода везут на кладбище и на больших санях, где помещается несколько трупов. Из-за каких-то холстин торчат голые ноги. Покойникам обувь не нужна. Подумать только, что есть люди, которые извлекают выгоду даже в эти страшные дни. Ведь с самого начала бомбёжек появились мастера, которые занимаются воровством в разбитых домах и раздеванием трупов. Они сыты и процветают. Кстати, такие элементы имеются и в нашем доме. В прошлом это была бедная семья. Но с первых дней войны глава этой семьи поступил на работу по раскопкам. Теперь их не узнать: одеты в шелка, меха и каждый день сыты.

15 января.

Знакомые устроили меня в одну швейную мастерскую, это даёт первую категорию в смысле пайка. Правда, мастерская почти не работает, нет света и топлива, но карточки всё же выдают. Таким образом я получаю немного больше хлеба, а теперь каждая крошка на счету.

16 января.

Сегодня была в амбулатории, пришла в ужас от того, что там увидела. Амбулатория полна рабочими и служащими, которые так обессилели, что продолжать работу не могут, но, боясь звания прогульщиков, приходят за большими листками — бюллетенями. Придя в амбулаторию, многие из них умирают в очереди к врачам. Пол в этом учреждении в полном смысле слова устан мёртвыми и умирающими. Их не успевают забирать.

18 января.

Никогда не думала, что посещение Димы в госпитале потребует столько усилий. Это просто подвиг. Простояв несколько часов в очередях и принеся обед, я должна сразу же отправиться в госпиталь. Иной раз кажется, что силы оставляют меня совершенно. Да и Дима меня мало радует. Он не поправляется. Бледный и опухший, он лежит ещё в коридоре. Никакого интереса к жизни не проявляет. Сегодня он с безразличным видом рассказал

мне о том, что в госпиталь вчера привезли двух молодых солдат, больных дистрофией, эти мальчики через несколько часов скончались. Значит, армия тоже голодает.

Дима весь покрыт нарывами. Один из нарывов вскрыли, но рана не затягивается — организм невероятно ослаб. В госпитале почти не делают операций, — ткани не сростаются. Ещё хорошо, что в госпитале, где лежит Дима, нет эпидемии дизентерии. В других лазаретах от этой болезни страдают почти все поголовно.

19 января.

Знающие люди говорят, что воздушные налёты прекратились потому, что от страшных морозов горючее в самолётах застывает. Между тем наши посты, несмотря на полное изнеможение людей, продолжают существовать. Отчётливо вспоминается недавнее время, когда чуть ли не поголовно всех мобилизовали на борьбу с «зажигалками». Люди стояли на крышах и должны были чуть ли не голыми руками хватать зажигательные бомбы и бросать их в ящик с песком. А песок от тысячеградусного жара кипел, как каша. Теперь зажигалки не сыплются, но дежурные сидят в ожидании сигнала. Седовласые старики, худые, как щепки, нацепившие на себя всё, что можно, закутанные в платки и шали, сидят внизу в коридоре: а вдруг тревога.

Пришло на память, как на даче в Тярлеве мой Юрик увлекался военщиной. Достал где-то красноармейскую

пилотку и щеголял в ней, хотя она закрывала ему уши. Война выводит на первую линию общества военных — это закон. Впрочем, за это полугодие советская армия как будто не оправдала тех надежд, какие на неё возлагались.

20 января.

Была у Димы, застала его за обедом. Оказывается, в этом госпитале он всё-таки кое-что получает. Утром — жидкий пшённый суп и 15 граммов сала. На день выдаётся 300 граммов хлеба. В двенадцать часов — опять суп, а порой и второе блюдо вроде жидкой каши с какой-то подливкой. И вечером дают тарелку такой же жидкости. Всё же едят три раза в день. Конечно, еда малопитательная, поправиться от неё невозможно, но помогает протянуть жизнь. Вид у Димы не улучшается. Прежняя апатия. Страшусь мысли, что вернуть его к жизни не удастся.

Возвращаясь из госпиталя, брела по парку Петроградской стороны. На какие-то минуты оторвалась от действительности. Вспомнила прошлое. Конечно, трудности нашей жизни в Советском Союзе были чрезмерны. Постоянная борьба за кусок хлеба. А хуже всего — гнёт, страх. Постоянный страх за себя и за близких. Однако, всё же бывали хорошие, счастливые минуты. Мне думается, что тут настройщиком был главным образом родной и любимый город. Вспоминаю, сколько раз я восхищалась им. Особенно в конце апреля или в начале мая, когда под за-

катным солнцем сияли купола Исаакия, шпиль Петропавловской крепости, голубой купол мечети. Любила я свой город и зимой: на Невском льду — снежный покров, сады и парки сияют инеем, морозный воздух пахнет яблоком-антоновкой. Сегодня тоже чудесный зимний вечер. Та же Нева, те же парки. Только сердце сжимается от мучительной тоски, от сознания полной безвыходности нашего положения, от неверия ничему и никому.

Грустно добрела до дому. Темнота, холод, умирающая коптилка освещает кухню. А вокруг этого слабого огонька — все обитатели квартиры — голодные, злые, вот-вот вспыхнет ссора. Мало человеческого осталось в людях.

24 января.

Новая беда — пожары. Каждый день что-нибудь пылает. Сегодня, когда шла к Диме, видела толпу вокруг дома, который сильно и быстро разгорался на моих глазах. Людей стояло много, но никто и не пытался тушить. Казалось, они любовались зрелищем. Через три часа, когда возвращалась, вместо дома была груда дымящихся балок. Иначе и не могло быть. Чем и как тушить? Воды нет, пожарные команды не в состоянии справиться с пожарами, у жителей нет силы и желания бороться с огнём. Громадные дома пылают, сгорают до тла. Говорят, что пожары возникают от печурок, трубы которых выходят прямо в окна. Конечно, устройство примитивное, немудрено, что всё, доступное огню, воспламеняется.

Нас регулярно обстреливает дальнобойная немецкая артиллерия. Снаряды разрушают дома и целые кварталы. Идёшь по улице и беспрерывно слышишь нарастающий свист. Выработалась привычка: жмёшься к той стороне улицы, откуда идёт обстрел. А вчера пришлось идти по Фонтанке, когда стреляли вдоль реки. Как по одной, так и по другой стороне улицы опасно. Снаряды летели над головой, разрывались то тут, то там. Казалось, что уже ко всему привыкли, а всё же под обстрелом трудно сохранить спокойствие.

Никогда не допускала мысли, что могу быть такой равнодушной к смерти. Я любила, можно сказать обожала жизнь, радовалась её малейшему проявлению. Знакомые считали меня оптимисткой. А сегодня сомневаюсь в том, что мы останемся в живых, но никакого отчаяния от этой возможной гибели не испытываю.

Опять пошли разговоры об эвакуации. Многие пробираются пешком по Ладожскому озеру. Чаще всего на это решаются подростки, стремящиеся спастись. Многие погибают на озере. Изнурённые организмы не выдерживают страшного холода.

25 января.

Участились перебои в выдаче хлеба. Очереди стоят чуть ли не с четырёх часов утра, а к девяти хлеба нет. Сегодня мне пришлось простоять полсутки — с шести утра

до шести вечера — и только тогда я получила паёк. Вместе со мной этот день простояла Варя, домработница моей тёти. Когда мы вышли из булочной, Варя попросила разрешения опереться на мою руку, сама уже не могла идти. Я довела её до дому. Она легла на корзине, стоящей на кухне, где было теплее.

26 января.

Умерла Варя. Там же, на кухне, на корзине, где приткнулась вчера вечером. Как и когда это произошло, никто не знает. Вышли утром на кухню, удивились, что она так долго спит. Стали будить, а она уже холодная. Мимо корзины ходят дети, задевают труп. Решили перетащить Варю в комнату Каролины на ту кровать, где две недели пролежал труп старухи. Переносили Варю все жильцы сообща, потому что все обессилены. Моя мать шла впереди с огарком, освещала коридор, остальные несли покойницу: кто за плечи, кто за голову, кто за ноги. Теперь в доме столько смертей, что наша женщина-управдом совсем сбилась с ног. Первая и главная забота о хлебной карточке. В недавнем прошлом её полагалось немедленно отобрать, чтобы на покойника не получали хлеб. В каждой семье где кто-либо умирал, старались скрыть хоть на несколько дней смерть, чтобы попользоваться лишней хлебной карточкой. Теперь вышло специальное постановление: родственники покойного могут не сдавать карточки в течение десяти дней, так как этот добавочный паёк предназ-

начается на похороны. Ведь могилу никто не соглашается рыть за деньги. Обычно родственники уплачивают хлебом только за рытьё общей могилы, что обходится гораздо дешевле, и, таким образом, за счёт покойника, можно подкормить себя и семью. На любые уловки идут люди, чтобы протянуть земное существование.

27 января.

Сегодня хлеба нет — во всех булочных не было выпечки. И надо же случиться, что в такой тяжёлый день произошёл счастливый случай: словно по чьему-то велению явилась Маруся. За отрез на платье, шифоновую блузку и какие-то мелочи, она принесла четыре килограмма рису. Сварили большую кастрюлю рисовой каши. У Маруси желание приобрести золотые часы. Досадно, что у меня их нет. Маруся подарила мне свою рабочую карточку на продукты. Но, к сожалению, этот подарок реализовать нельзя: в кооперативах ничего нет, а в нашей столовой по рабочей карточке ничего не отпускают — к столовой прикреплены только иждивенцы военных. При попытке использовать карточку можно только налететь на большие неприятности. Получение обеда в нашей столовой забирает у меня половину дня. Это, кажется, самые мрачные часы сегодняшней нашей жизни.

28 января.

Пришла Марианна Засецкая. Раньше такая всегда весёлая, оживлённая, хорошенькая. Посмотрела на неё и

глазам своим не поверила. Стала какая-то маленькая, словно вся сжалась. Лицо — комочек серо-жёлтого цвета. Села к печке, там теплее. Я только что принесла хлеб и резала его на равные части, чтобы раздать всем членам семьи. «Дай кусочек», — просит жалким голосом. И дать не хочется и отказать невозможно. Протягиваю тонкий кусок, жадно выхватывает из рук и сразу начинает есть. Страшно думать до чего дошли люди! Хуже зверей. Я быстро убираю хлеб, чтобы не попросила ещё. Обогревшись, начинает рассказывать. Всё та же история. Она, мать и пятнадцатилетняя дочь, Катенька, переселились из района Мариинского театра недалеко от нас, на Пески, будто бы здесь спокойнее. Мать умерла и похоронена в общей могиле. Катенька слегла. Рассказывает всё это Марианна тем же апатичным голосом, не слышится ноток страдания о потере матери, болезни единственной любимой дочери.

29 января.

Слухи о возможной эвакуации всё усиливаются. Этих разговоров терпеть не может мой дядя, который настолько слаб, что не надеется выжить, если его даже и увезут из Ленинграда. Действительно, дорогу ему не перенести. Тут, окружённый заботами жены, он ещё может держаться.

Сегодня после обеда прошёл слух, что Тихвин освобождён. Значит открылся путь на Вологду. Новые шансы на спасение.

30 января.

Около четырёх часов дня, когда дядя задремал, тётя открыла форточку и пошла на кухню. Она решила оставить его в покое — пусть поспит. Через полчаса, когда она вернулась, он уже был мёртвый. Так и застыл в спокойной своей обычной позе. Перенесли его в холодную комнату. Тётя, обожавшая его всю жизнь, ведёт себя, как все теперь ведут — даже не плачет. Часов в шесть вечера с работы пришла Людмила. Я вышла открыть ей дверь и сообщила печальную новость о смерти её отца. Людмила горько разрыдалась и только тогда, как будто что-то дошло до сознания тёти. Она упала в объятия дочери и долго вся сотрясалась от рыданий. Легче было видеть это, прорвавшееся наружу горе, чем ту страшную окаменелость, которую приходится наблюдать всё время у всех ленинградцев.

2 февраля.

По дороге из госпиталя зашла к одной знакомой, которую не видела несколько месяцев. Была поражена тем, что увидела: на столе огромный кусок масла, приблизительно с фунт, на сковороде шипят оладьи, а сынишка знакомой отказывается есть, приготовленную ему гречневую кашу — она ему не нравится. Выяснилось то, что обычно выясняется в таких случаях: близкие родственники знакомой служат в кооперативе. Воруют и не знают нужды.

3 февраля.

Мой малыш Юрий начинает покрываться нарывами. Почти на каждом пальце по нарыву. Пробовали вскрыть, но появляются новые. Мальчик начал хуже выглядеть. Главное, и у него появились признаки апатии, которой я боюсь больше всего. До последних дней он был единственным в доме бодрым и весёлым. Копался во дворе, убирал снег, расчищал дорожки, колол дрова, а теперь тоже жмётся к печке. Меня охватывает страшная тревога: старшего сына теряю в больнице, грозит опасность и малышу.

Врачи говорят, что за эту зиму вымерло очень много мужчин, к весне не выдержат женщины. Ведь женщины в общем выносливее, у них больший запас подкожного жира. Однако и они стали сдавать. Я сама замечаю, что у меня одна щека толще другой, тело превратилось в скелет, на руках синие жилы, ноги опухли, передвигаюсь с большим трудом. Если слягу, вся семья погибнет. Кто будет приносить те ломтики хлеба, которые полагаются по карточке?

4 февраля.

Вчера поздно вечером раздался стук в парадную дверь. Меня спросил человек в полушубке с какими-то знаками различия на петлицах. Оказывается, он пришёл за документами для эвакуации. Пока я разыскивала необходимые бумаги, он ходил за мной и светил карманным фона-

рём. Поневоле обратила внимание на его полное, холеное лицо. Словно человек из другого мира, случайно попавший на нашу планету. А между тем он тоже ленинградец, переживающий осаду. В сотый раз думаешь о том, насколько разным может быть положение у людей, пользующихся какой-то властью или возможностями, и людей рядовых, у которых, кроме хлебной карточки, больше ничего нет.

Посетитель забрал наши документы и уехал. Заявил, что завтра мы должны эвакуироваться.

5 февраля.

Кончился день безумных хлопот. Окончательная укладка вещей завершилась в полной темноте. Не знаю, что взяла, что забыла. Мы устали так, что еле двигаемся. Мать моя, исхудалая и страшная, с признаками смерти на лице, тоже целый день копошилась, что-то складывала, связывала, собиралась словно на дачу. Муж ездил в госпиталь за Димой. Я надеялась увидеть мальчика хоть сколько-нибудь поправившимся и страшно ошиблась: несколько дней назад у Димы началась дистрофия (это тяжёлое желудочное заболевание в настоящее время свирепствует в нашем голодном городе). И несмотря на крайнюю слабость Димы, главный врач госпиталя всё же советовал его увезти, так как в Ленинграде очень мало надежд на поправку. С помощью шофёра муж принёс Диму на руках в нашу квартиру.

Итак, завтра уезжаем. Вот наш состав: семидесятичетырёхлетняя мать моя, ослабевшая настолько, что в ней еле держится душа, шестидесятипятилетняя няня с опухшими ногами и тоже подкошенная голодной зимой, тяжелобольной Дима, который сам передвигаться не может, маленький Юра, покрытый нарывами и я. Я — единственно мало-мальски трудоспособная. Но тоже уже начала опухать и особенно сдала за последние дни. Будущее меня пугает. Куда мы доедем и где сможем устроиться? Тётя, которая после похорон дяди тоже должна эвакуироваться с дочерью и внуками, глядя на меня, тяжело вздыхает. Понимаю, что она очень сомневается в благополучном исходе нашей поездки. Ну что же — увидим. Делать нечего. Другого исхода нет.

Сегодня приходили прощаться знакомые. Встречусь ли я когда-нибудь с ними? На Ирину, крёстную мать Юрочки, которая была так уверена, что голодать не придётся, страшно смотреть. Она вся распухла, её недавно красивое лицо превратилось в прозрачную маску. Голод невероятно меняет внешность людей. Все ленинградцы теперь какие-то иссиня-чёрные, бескровные, опухшие. Если бы для какого-нибудь фильма «ужасов», по требованию кинорежисёра загримировали бы действующих лиц под умирающих голодной смертью, то вряд ли получились бы такие уроды. Кроме Ирины, поражает меня и другая приятельница, Женя, которая ещё несколько месяцев назад была изящной и красивой женщиной. Ничего не осталось от её

прежнего облика. Она всегда мало ела, а теперь, провалившимися голодными глазами смотрит на каждый кусок. Еле добрались и Ирина Братус с мужем. Еще недавно здоровые весёлые спортсмены, они превратились в стариков. На счастье, у меня остался овёс, который на днях принёс муж и которого уже не стоило брать с собой. Из этого овса я устроила последнее угощение своим ленинградским друзьям. Надо было видеть с какою жадностью глаза всех присутствующих устремились на большую кастрюлю, полную дымящейся жидкости. Я вспомнила, что ровно год назад — 13 февраля, в день моего рождения, все эти люди собрались у меня к традиционному ужину. Сколько было вкусных блюд и разнообразных вин! А после ужина танцевали до утра. И это было всего год назад! Теперь же похоже, что собрались привидения.

Исход

(6 февраля — 2 мая 1942 года)

11 февраля.

Вчера в десять часов утра высадились на платформе Череповца. Было холодно, валил снег, куда идти — неизвестно. Отвела маму в ближайший амбулаторный пункт.

Итак, Ленинград остался позади.

Но сначала надо восстановить в памяти эти дни. Шестого февраля я проснулась очень рано, было ещё совсем темно. Почти с самого начала войны я просыпалась с чувством безнадежности и тоски, но в этот день впервые ощутила чувство надежды и даже радости. Сначала побежала в булочную получить хлеб на дорогу. Вернувшись, зашла по обыкновению в комнату Анастасии Владимировны, которой приносила её хлебный паёк. Хотя в комнате был полный мрак, взглянув в лицо старушки, я поняла, что она мертва. Вспомнила, как она боялась, что мы уедем. Вчера, узнав, что мы эвакуируемся, она пришла в полное отчаяние. По-видимому, этого последнего удара не выдержала. В самом деле — кто бы стал ей носить эти крохи, которые поддерживали жизнь в слабом теле? Кому нужен полутруп, если кругом умирают молодые, здоровые. Может быть, одинокая старушка осознала всё это, и сил для сопротивления у неё больше не стало.

Чтобы не задерживать машины, вещи надо было перетаскивать на рассвете: отъезд назначен на восемь часов.

Ясное морозное утро. Перед нашим домом блестят на солнце заиндигевшие деревья. В синем небе ни единого облачка. Я любила такие дни, когда мороз пощипывает щёки, а солнце и снег слепят глаза. Но теперь было не до того. С трудом усаживаются в машину старушки. Трудно уложить Диму. В автомобиле уже находится одна семья: мать какого-то военного, его жена и ребёнок. Ещё нужно заехать в госпиталь, где собрались остальные эвакуирующиеся. Всего три машины для тридцати человек. У госпиталя ждали долго, не менее трех часов — запоздала семья заведующего госпиталем. Окружающие говорили, что там не успели уложить многочисленные вещи. Наконец, появилась полнотелая, цветущая дама, элегантно и тепло одетая. С ней две упитанные девочки, примерно двенадцати-тринадцати лет. Кроме них, ещё какая-то девочка со своей гувернанткой. Для подобных семей строгих правил эвакуации не существует. Это только простым смертным не разрешается брать с собой знакомых и друзей. Начали размещаться в машины, почему-то без конца менялись местами, пересаживались. В кузов нашей машины втиснули какие-то громадные баки, в результате чего нельзя было повернуться. Оказалось, что в баках был бензин. Воздух стал сразу необычайно тяжёлым. Разумеется, начальство выбрало себе самую лучшую машину, а наша, которая имела какой-то дефект, должна была двигаться между двумя другими. Хотя я мало инте-

ресовалась окружающим, но, помимо воли, обратила внимание на то, что семьи работников госпиталя выглядели прекрасно. В нашу машину попали ещё: первая жена заведующего госпиталем, скромного вида женщина лет тридцати пяти и толстый мальчишка, их сын. Рядом с Димой он казался особенно румяным и цветущим, Дима же выглядел умирающим. Попали они к нам случайно, ибо полнотелая супруга Ешкелева не пожелала их присутствия в избранной ею машине. Третья же уже была набита до отказа.

Наконец всё готово. Последние приветствия. Вижу, как следом за машинами, напрягая последние силы, бегут мой муж и молодой военный, семья которого едет с нами. Вскоре мы теряем их из виду.*)

Мелькают кварталы города, с которым связаны все лучшие годы жизни. Проехали Знаменскую, выезжаем на Кирочную, бросаем последний взгляд на наш дом. Вот и Таврический сад, где я бегала ещё ребёнком. Дальше Педагогический Институт, где училась. Промелькнул Смоль-

*) Это было моим последним свиданием с мужем. Узнала после, что он искал нас, получив одно из моих многочисленных писем. Он не погиб от бомб и обстрелов, хотя вынес до конца блокаду. Умер же он в 1946 году от заражения крови. В то время в Советской России пенициллина не было. Эти сведения я получила от двоюродной сестры, живущей в Париже и переписывавшейся со старушкой матерью.

ный, потом знакомый пригород, дачные места, куда часто ездили по воскресеньям в битком набитых поездах.

А Дима всё тяжелее опирается на меня. Ему плохо. Даю ему глотками вино, которое в последнюю минуту мне передал муж, стараюсь ободрить, уговариваю — скоро вырвемся из кольца, поедem на юг, куда он так стремился. Он поправится, будет опять учиться, будем всё иметь. Всё это я говорю ему, а сама ничему не верю.

Подъехали к Ладожскому озеру, и тут начинаются наши страдания. В автомобиле что-то ломается, машина дальше не идёт, нас все обгоняют. Та машина, которая должна была следовать за нами и, в случае нужды, оказать помощь, обгоняет нас, и мы остаёмся одни среди безграничного снежного поля. Шофёр и его помощник мучаются с ремонтом. Становится всё холоднее. Мимо нас непрерывным потоком идут машины — никто не останавливается, у всех единственное желание как можно скорее переправиться через такое опасное место, как Ладожское озеро, которое подвергается непрерывным бомбёжкам и артиллерийским обстрелам. Начинаются сумерки. От других машин и следа не осталось. А мы проедem пять минут, и снова остановка. Начинаем сильно мёрзнуть. Чтобы затопить печурку приходится вытаскивать баки с бензином, а то может произойти взрыв. Всё это сложно, тяжело, мучительно.

Только в десять часов вечера дотянулись до противоположного берега. Надеялись, что нас там ждут две дру-

гие машины. Но их не было. Положение ещё более усложнилось, так как никто не знал, на какой станции будет погрузка, где нам искать людей, ответственных за эвакуацию. Шофёры устроились на ночлег в какой-то избе, а нам пришлось в скрюченных позах провести ночь в машине. Это была бесконечная, томительная ночь. Наконец рассвело. Тут я решила взять в свои руки инициативу: настояла на том, чтобы машина шла в Войбокало, где находился госпиталь, к начальнику которого у меня была записка. Только двинулись в путь, началась тревога. Летали немецкие самолёты, стреляли зенитки. Через несколько километров нас встретили две машины, с которыми выехали из Ленинграда. Заведующий госпиталем осыпает нас упрёками за то, что мы отстали. А на другой день, я случайно узнала, что начальство всю ночь кутило, получив продукты на весь транспорт. Конечно, их мало трогало, что наша машина сломалась и что в ней находится умирающий мальчик. Единственное мероприятие, которое провёл встретивший нас начальник госпиталя, заключалось в том, что он забрал из нашей машины своего цветущего сына. Но тут я уже не выдержала: почему в неисправной машине оставляют больного Диму? Меня поддерживали попутчики. В результате Дима был взят на другую машину с тем, чтобы довезти его до Войбокало и устроить там в госпиталь. Позднее я увидела этот госпиталь: десяток палаток, разбросанных на снежном поле. Диму пришлось оставить в палатке, потому что его положение ещё более ухудшилось. Наскоро по-

прощавшись с ним, отдала ему его паспорт. Начальник госпиталя, сопровождавший теперь нашу машину, торопил, нельзя было медлить, ибо наш поезд должен был отойти от станции через несколько минут.

Вот я со своими старушками и Юриком в вагоне. Но там ни одного свободного места. Уселись на своих чемоданах. Но кроме этих неудобств, были мучения другого порядка. Утром жена начальника и её девочки достали жареных кур, шоколад, сгущённое молоко. При виде этого изобилия давно невиданной еды, Юрику сделалось дурно. Моё горло схватили спазмы, но не от голода. К обеденному времени эта семья проявила «деликатность»: свой угол она занавесила, и мы уже не видели, как люди ели кур, пирожки и масло. Трудно оставаться спокойной от возмущения, от обиды, но кому сказать? Надо молчать. Впрочем, к этому уже привыкли за многие годы.

Ночная поездка хуже дневной. Руки отекли. Всю ночь надо было держать Юрика на коленях. Никому из соседей не пришлось в голову хоть временно уступить место. Мама и няня тоже измучились. А ко всему этому стучи молотком в дверь на каждой остановке. Не знаю кто — железнодорожники или санитары оглушительно стучат в стены теплушки и кричат: «Есть у вас мёртвые? Давайте их сюда!».

12 февраля.

Вчера не успела дописать — клонило ко сну. Сегодня тоже ноги подкашиваются. Весь день проводишь в беготне и хлопотах. Напрасно я думала, что достаточно выбраться из блокады и жить станет легче. Приходишь к убеждению, что во всей стране одинаково — голод, нищета, болезни и смерть. Главное — ничего нет. Будто за полгода люди съели все запасы. Юрик допытывается: «У них тоже все склады сторели? А кто их поджигал?». Я не нахожу ответа не только на его вопросы, но и на свои собственные.

Лучше продолжу рассказ о нашем путешествии.

Поезд тащился медленно, часами стоял на станциях и полустанках. На этих стоянках в бесконечных очередях выдавали по справкам обед и хлеб. Обед — суп и каша. Правда, в первый день выдали немного колбасы. Однако мои спутники умудрились стянуть у меня колбасу. Сидя всю ночь с Юриком на руках, я не имела возможности следить за своими вещами. В пути начались желудочные заболевания. Вероятно потому, что люди получили хоть немного еды, от которой совершенно отвыкли.

Поразительно — большинство пассажиров нашего вагона, представители интеллигенции, но вели себя самым бессердечным образом. На одной остановке няня вышла из вагона, задержалась и подошла в момент отправления поезда. Некоторые попутчики принуждены были помочь

ей взобраться в теплушку. И этот ничтожный факт привёл к тому, что буквально все присутствующие набросились на меня с бранью за то, что я не слежу за своими старушками. У меня не было сил, чтобы как-нибудь противостоять этой орде злобных людей. Больше всех кричали те, кто имел в чемоданах продукты.

На четвёртый день я решила высадиться в первом попавшемся городе — лишь бы прекратилась мучительная поездка. Мы подъезжали к Череповцу. Там у меня ни родных, ни знакомых. Но среди попутчиков была некая Гаврилова, которую я немного знала по Ленинграду и которая рассказала, что в Череповце у неё много друзей, она поговорит с ними и они помогут найти какое-нибудь пристанище. Я понимала, что сделать остановку крайне необходимо: маму дальше везти невозможно, она слабела с каждым часом, теряла последние силы от бессонных ночей. Кроме того, меня мучила мысль о Диме — отсюда, из Череповца, быть может, удастся съездить к нему в госпиталь.

Итак, мы на платформе череповецкого вокзала. Вокруг нас высокие сугробы. Над головой висит серое небо. Сыплется снег. От мороза прерывается дыхание. Я очень обрадовалась, когда можно было оставить маму в переполненном больными амбулаторном пункте. Ведь я так боялась, что мать не перенесёт страшной дороги и что на какой-нибудь остановке, на очередной вопрос: «Есть у вас мёрт-

вые?» — попутчики скажут о маме. Отвратительный амбулаторный пункт в эту минуту казался спасением. Гаврилова отправилась на поиски в город. Мы стояли вокруг своих вещей. К нам подходили местные жители, выражали своё удивление, что мы высадились в Череповце. И тут же рассказывали, что в этом городе и его окрестностях свирепствует голод. Наконец, появилась Гаврилова. Сообщила, что нашла какую-то комнату. Отправились по тёмным узким улицам окраины. Хозяева этого жилища встретили нас утрюмо. Оказалось, что здесь больше всего боятся ленинградцев, потому что все они больные и голодные. О какой-либо помощи со стороны местных властей нечего было и надеяться. В том числе и наши хозяева, у которых кладовая была полна продуктов, вряд ли пошли бы в чём-либо навстречу. Я думаю об условности таких понятий, как «свои люди» и «чужие люди». Сейчас я больше всего боюсь, что Юрий вдруг не выдержит и попросит у хозяев есть.

15 февраля.

Остановка в Череповце нас не устроила. Продовольственное положение здесь очень тяжёлое. Население получает по 400 граммов хлеба и больше ничего. Правда, для местных жителей это ещё не трагедия, потому что они имеют свои огороды, в какой-то мере обеспечены картошкой и овощами. Нам же, приезжим, существовать тут весьма трудно. Тем более, что эвакуированных в Черепов-

це довольно много. Они задержались здесь проездом, как и мы, зачастую из-за болезни кого-нибудь из членов своей семьи. Главный начальник, ведающий делами беженцев, кратко и грубо заявил мне, чтобы я поскорее уезжала: проезжающим не отпускается хлеба больше чем на три дня. Прописаться в Череповце, при отсутствии родственников, нет никакой возможности.

16 февраля.

С утра до ночи бегаю, стучусь во все двери. Первым делом надо получить разрешение на проживание в Череповце хотя бы две недели, чтобы за это время хоть немного оправилась мама и смогла бы вместе с нами ехать на Кавказ. Второй моей задачей является получение разрешения на проезд в Войбокало за Димой. Я всё же надеюсь, что ему стало лучше. Но все мои попытки ни к чему не привели: всюду отказ. Даже на кратковременное проживание в Череповце разрешения не дают: в городе много сбилось людей. Начальник НКВД, к которому я обратилась за пропуском для поездки в Войбокало, категорически заявил, что гражданскому населению ни под каким видом не разрешается ездить в прифронтовую полосу.

17 февраля.

Забрала маму из амбулатории. Она слабеет с каждым часом. Няня тоже еле передвигает ноги. Кормить их нечем. Все советуют устроить их в больницу. Ходила к врачу,

вызвала его на дом, обещал навестить завтра. Посмотрим, что он посоветует.

18 февраля.

Сегодня старушек забрали в больницу. Правда, это только одно название — больница. В жизни не видела подобного лечебного заведения: невероятная грязь, постельное бельё отсутствует, запах невыносимый, никакого ухода за больными нет.

Вчера вечером, возвращаясь из городской столовой, где за супом и кофе простояли почти весь день, мы с Юрием заблудились. Наш путь лежит мимо церкви и кладбища, пройдя которое мы выходим на пустырь, потом опять начинаются улицы пригорода, на одной из которых мы живём. Очевидно я потеряла направление. Шли мы долго, никаких признаков улиц. Юрик устал, ноги проваливаются в сугробы, он всё время спрашивает меня — где же мы? Тут я не на шутку заволновалась. Вокруг — ни одной души, не у кого узнать, где мы находимся. Сворачивали то направо, то налево, бродили больше двух часов, пока, наконец, не встретили одну старушку, указавшую нам направление. Получилось, как в страшной сказке, читанной в детстве: идёт горемычный человек по неведомой земле, вокруг лес, да звери, над ним усеянное звёздами небо; остановится он, подымет глаза к звёздам, помолится и опять бредёт. Голодный, вымирающий Ленинград остав-

лен. Вдвоём с маленьким Юриком мы затеряны в чужом городе. Не дают покоя постоянные думы о судьбе Димы и заботы о больных старушках. А ко всему этому издевательское, бездушное отношение людей, в руках которых сегодня наша судьба. Тех людей, от которых зависит хлебный паёк, тарелка супа, угол, в котором можно приткнуться. Бывают минуты, когда хочется сложить руки, ни о чём не думать — будь что будет. Но человек устроен иначе: при всех бедах и несчастьях остаток сил он использует для того, чтобы ухватиться за соломинку. Главным стимулом для меня являются дети.

20 февраля.

Ежедневно навещаю старушек — маму и няню. В больницу каждый день подвозят новых, полуживых ленинградцев, снятых с поездов. Каждое утро у двери больницы стоят широкие крестьянские сани, куда складывают покойников. Трупы везут прямо в поле, хоронят в общей могиле, без гробов, без отпевания. Сегодня около входа в больницу я увидела молодую женщину, лет двадцати. Она сидела на снегу, к щекам её примёрзли слёзы. Оказалось, что ночью у неё умер муж, такой же студент, как и она. Они женаты были меньше года, изголодались в Ленинграде, удалось вместе эвакуироваться. По дороге их сняли с поезда, отправили в эту больницу. Мужа, как особенно истощённого, оставили на лечение — и вот он умер. Потом там же я встретила молодую чету: он инженер, она сту-

дентка. Их тоже сняли с поезда, как обессиленных. Надеются окрепнуть и двинуться дальше.

21 февраля.

Когда я прихожу в больницу, мама и няня первым делом рассказывают о том, что произошло за истекшую ночь. Сегодня они сообщили, что скончались молодые супруги, на которых вчера я обратила внимание — инженер и его жена, студентка. Умерли они почти одновременно. А ещё ночью скончались четыре студентки, которых доставили в больницу очень поздно вечером. Мест не было, их положили на полу, в коридоре, а к рассвету они стали четырьмя трупами.

А матери моей всё хуже и хуже. Она выпила слишком много молока, а в её состоянии — это гибель: опасное заболевание желудка. Именно от такого заболевания, примерно месяц тому назад, умерла Зоя Михайловна Тарновская.

Обратила внимание на одну особенность: в лечебнице полно больных, большинство которых интеллигентные люди — инженеры, педагоги, студенты, а между тем никого из них не интересует, что происходит на фронтах. Может быть, постоянные думы о своей судьбе или голодное отупение приводит к потере интереса ко всему, происходящему за порогом больницы.

23 февраля.

Уже не было даже слабых надежд на какую бы то ни было помощь. Казалось, мы с Юриком находимся в безлюдной снежной пустыне, и вдруг я открыла оазис. Бегая из одного учреждения в другое, случайно попала в эвакупункт. В комнате сидели трое: молодой врач, второй врач-женщина и молоденькая девушка за пишущей машинкой. К моему изумлению, эти люди встретили меня очень приветливо. Расспросили, обещали помочь в розысках Димы, взяли письмо для него, а в случае, если Димы в госпитале уже нет, узнать, куда его отправили и где он может находиться в данное время. Конечно, многого сделать они не могли, тем более, что существуют строгие положения в отношении обеспечения беженцев и их дальнейшего передвижения. Но тем не менее стало легче на душе от приветливого слова, от искренней сердечной заботы.

На базаре, кроме клюквы, больше ничего нет. Покупаю клюкву и едим её вместе с печёной картошкой. Отношу это угощение и старушкам в больницу, так как больничная еда никуда не годится. Картофель удалось получить от одной крестьянки в обмен на отрез шерстяной материи.

25 февраля.

Без конца пишу письма всем знакомым, адреса которых сохранились у меня. Посылаю телеграммы. Никаких

ответов не получаю. Точно в бездонный колодец всё бросаю. Чувствую себя отрезанной от мира. Думаю, что Робинзон Крузо был счастливым человеком: он твёрдо знал, что находится на необитаемом острове, что надо полагаться только на свои руки. А мы ведь среди людей.

Всё хлопочу о возможности добраться до Вологды — надеюсь найти там Диму в одном из госпиталей. Мама в таком состоянии, что везти её дальше невозможно. Врач утешает тем, что сердце у неё хорошее, но я всё же боюсь, что ей не поправиться. На днях уходил транспорт на Кавказ. Умоляли начальника по беженским делам устроить нас, но он отказал, заявив, что это транспорт особого назначения. Потом стороной я узнала, что транспорт был предназначен для работников НКВД и ушёл только наполовину заполненным. Впрочем, я уже привыкла к такой обиде, свыклась с сознанием, что даже во время страшного бедствия в нашей стране людей делят на «избранных» и на «парий».

26 февраля.

Бездушное отношение к нам лиц, от которых зависит дальнейшая отправка, в некотором смысле имеет положительный результат: благодаря этим отказам и пребыванию моих старушек в больнице, я, хотя и с перерывами, получаю продление карточек на хлеб. Вот уже две недели я в Череповце. Хотя и с трудом, но мы с Юрой перебиваемся.

За это время успела присмотреться к жизни города. Бог знает что в нём творится. Большие руководители, оказывается, регулярно, раз в неделю, а то и чаще, устраивают пиры. Чего только нет на этих вечерах! И всё это из фонда, выделенного голодающим ленинградцам. Город маленький, что в нём происходит моментально известно. Я всё это узнала от одной девицы, которая живёт вместе с Гавриловой. Девица пользуется симпатией начальника Горторга, присутствует на вечерах, которые он устраивает. Говорит, что на таких вечеринках еды всякой полно, а вино рекою льётся.

26 февраля, ночью.

Проснулась от какого-то непонятного беспокойства. Сон пропал. Зажгла лампу. Даже обычные тяжёлые мысли не столько мучают, как неизвестное предчувствие. Очень беспокойно на душе. Хорошо, что Юра крепко спит. Не пошевелинулся, пока я пишу.

27 февраля.

Пришла в больницу раньше, чем обычно — до десяти. Нашла маму мёртвой. Она скончалась под утро. Няня, кровать которой стоит рядом, рассказала, что мама умерла спокойно. Но, очевидно, няня пыталась меня утешить, потому что другая соседка не скрыла от меня, что мама перед смертью страшно металась. И это, несомненно, так и было: у мамы скрючены руки, рот перекошен. Вообще

она так изменилась, что, глядя на неё, не верится, что это моя мать, в прошлом такая красивая. Долго стояла у постели. Мучили угрызения совести, что не могла спасти её и, может быть, не скрасила последних дней её жизни. Ведь я вся была поглощена заботами о насущном хлебе, о спасении детей и слишком мало уделяла ей внимания. Даже похоронить её не могу — не найти людей, которые согласились бы копать отдельную могилу. Да и гробов нет. Всех свозят в общую могилу. Эти могилы так и называются — «ленинградскими». Их много зарыто — молодых и старых, мужчин, женщин и детей, оставивших Ленинград, но не спасшихся от голодной смерти. Пока я стояла, пришли за мамой. Равнодушные люди забирают трупы, сваливают их в общую кучу. Около больницы меня ждёт Юрочка, играет в снегу. Его щёки за эти две недели порозовели. Только он возвращает меня к сознанию, к мысли, что ещё надо жить, что ещё есть цель существования, что надо бороться, не сдаваться смерти, поглощающей столько жертв.

28 февраля.

Остаётся одно: дожждаться пока няня выйдет из больницы (а няне стало лучше) и немедленно уехать отсюда. Уехать подальше от этого места, где свалилось на голову столько горя и бед.

А кроме горя и бед — ещё много унижений. Чего стоит вымаливание карточек на хлеб. Даже врагу не пожелаю

пережить то, что мне пришлось пережить за эти недели в Череповце. Ещё счастье, что одна из сотрудниц городского управления приняла участие в моём безнадежном положении и продолжает выписывать мне талоны на хлеб и обеды. Она же каждый раз, когда я прихожу, уговаривает меня, как можно скорее уехать. Я понимаю её: кроме участия, ещё действует страх, ведь ей придётся плохо, если начальство узнает об её поступке.

3 марта.

Вернулась из больницы няня. Но ещё очень слаба, еле двигается. Ума не приложу, как мне придётся везти её дальше. От Димы известий нет. Получила из госпиталя в Войбокало справку, что Дима включён в число эвакуируемых. Больных вывезли на восток, но куда именно, выяснить не удалось. В эвакуопункте узнала ещё, что особенно слабых размещали по дороге в разных госпиталях. При той организации, которая существует в больницах и госпиталях, найти кого-либо не представляется возможным. Остаётся только надежда, что, если мальчик окреп, то, может быть, как-нибудь доберётся до Иваново-Вознесенска. А там есть знакомые. Авось, поддержат.

5 марта.

Всё хожу на вокзал, делаю попытки уехать с транспор-тами, идущими из Ленинграда. Однако надежд почти никаких. Все эти транспорты необычайно переполнены, в

Череповце посадки нет. А уезжать надо обязательно. И немедленно. Ведь вопрос о хлебном пайке стал вопросом жизни. Если эта милая девушка прекратит выписку талонов, а это она вправе сделать каждый день, то погибнем голодной смертью, здесь, в этом Череповце. Решительно ничего купить или достать здесь нельзя. Имея хлеб, я могу выменять его на молоко, которое так необходимо Юре. Обедов я уже давно не получаю. Только хлеб и спасает.

На днях ходила вместе с Гавриловой в деревню, вёрст за десять. Надеялась обменять на продукты некоторые вещи. Вернулись ни с чем. Крестьяне гонят прочь, им ничего не нужно. Тем более, что раньше они уже достали всё, что угодно: ковры, мебель, всевозможные ткани. После этих унижений дала себе слово больше никогда не ходить. Слишком обидно чувствовать себя нищей, выпрашивающей кусок хлеба.

7 марта.

Хоть чуточку становится теплее на душе, когда встретишь какое-нибудь маленькое участие. Наш суровый хозяин немного оттаял — приглашает по вечерам к самовару. Конечно, можно рассчитывать только на кипяток, но и то слава Богу. Вдвойне теплее — от кипятка и сочувствия.

10 марта.

Пришла телеграмма от тёти из Сибири. Я ей сообщила о смерти мамы. Тётя спрашивает, чем она может мне по-

мочь. А чем можно помочь, когда она в Сибири, а мы в Череповце? Пробовала отыскать одного старого знакомого, который был приятелем мужа. Знаю, что он теперь занимается большой пост. Нашла его. Просила о помощи. Но вот именно помощи он оказать не может. Или не желает.

12 марта.

Сегодня пошла на почту опять отправлять телеграммы во все стороны. Почему-то решила спросить «до востребования». Каково же было мое изумление, когда мне дают маленькое письмецо Димы. Оказывается, Дима уже не в полевом госпитале, где я его оставила, а в 3-м по счёту, в Тихвине. От меня он так и не получил ни одного письма. Волнуясь о нас и о своей судьбе, он писал во все города, которые могли быть на моём пути. Череповец я как-то упоминала, как возможный пункт, где мы могли бы задержаться до весны. Письмо Димы было отчаянным: «Мама, где ты? Что с тобой? Я не знаю, что делать, меня каждый день могут выписать, хотя я ещё очень слаб. Куда я денусь? Без вещей, без денег, без эвакуационной справки на хлеб?» Всё письмо было в этом духе. Послала ему деньги телеграфом, письмо и телеграмму. Затем опять бросилась по всем учреждениям, чтобы, на основании письма, постараться получить разрешение поехать за ним в Тихвин, который был в двух часах езды от Череповца. Всюду получила отказ. Тихвин — направление к фронту, полоса запрета, въезда нет.

15 марта.

Будь что будет — решила уезжать. Сегодня же. Конечно, нет никаких перспектив на такую возможность. Но что делать? Возьму Юрика и няню, отправлюсь с ними на вокзал. Больше оставаться здесь нельзя. В хлебе отказали окончательно. И на прописку нечего было рассчитывать — я уже всё испробовала. Если до Димы дошло хоть одно из моих писем и он узнает, что я в Череповце, то наверняка приедет сюда. Я умоляла врачей из эвакуопункта, чтобы они оказали ему помощь, если он вдруг появится.

17 марта.

Передо мной — зеркальное окно. За окном плывёт сосновый лес. Я смотрю на этот лес, на сугробы, небо и не верю, что это действительность. Я сижу за столом, на котором стоит пишущая машинка, моя машинка, вывезенная из Ленинграда, и на которой я теперь должна работать. Но я ещё не свыклась с мыслью, что всё это произошло на самом деле, а не приснилось. Но надо всё по порядку. Как я и решила, тогда же, пятнадцатого марта, расплатилась со своими хозяевами. Достала сани, на которые погрузила наши вещи. Мы брели за санями по снегу: Няня, Юрочка и я. Потом нас догнала Гаврилова — в последнюю минуту она решила двинуться вместе с нами. Так мы и прибыли на железнодорожную станцию. Там нам сказали, что ни одного состава из Ленинграда не ожидается — силь-

ная метель, занесло дорогу. Но мы остались на вокзале, расположились кое-как на своих вещах. Просидели до десяти вечера. И, вдруг, неожиданно пришёл, будто вынырнул из метели, эвакуационный поезд. Я умоляла начальника поезда взять нас. Он отнёсся сочувственно, но предупредил, что весь состав забит школярами-ремесленниками, которые дезорганизованы до последнего предела. Они могут разворовать вещи, способны отобрать у нас жалкие остатки еды. В общем он стал меня уговаривать дожждаться следующего дня. Делать было нечего.

Решили вернуться в город, чтобы переночевать, а на следующий день начинать всё сначала. Так и сделали: пришли к знакомым Гавриловой, спали вповалку на холодном полу. А утром — снова на вокзал. Ещё когда подходили к станции увидели, что на путях стоит два состава. Один санитарный — чистенькие, новые, большие вагоны с наглухо закрытыми дверьми. Второй — с эвакуированными, грязными и измождёнными людьми. Оказалось, что один вагон, теплушка, в этом составе был предоставлен для пассажиров из Череповца. Вот в него и надо было грузиться. А вокруг огромная толпа. Женщины с тюками, с сундуками, узлами, детскими колясками и прочим скарбом лезли в вагон. Дрались, орали, напирали друг на друга. Не знаю откуда хватило силы протолкаться и всё-таки втиснуть свои вещи и втиснуться самим. Няню кто-то ударил сундуком по голове. Несчастная почти без сознания. Юрик в ужасе стал кричать и плакать. Именно он завопил, чтобы высадиться из этого ужасного вагона. И я не вы-

держала. Стала выбрасывать наши вещи из вагона на платформу. Вслед за вещами протиснулись и мы. С нами Гаврилова. Она разъярилась до крайности. Решила, что я окончательно сошла с ума. Однако в вагоне тоже не осталась. И вот мы опять столпились на платформе. Гаврилова настойчиво требовала, чтоб я отправилась к начальнику вокзала. Но я ничего не соображала. Не знаю как, но я начала рассказывать о своём горе красноармейцам из санитарного поезда, которые стояли рядом. И вот один из них, пожилой, усатый солдат, стал расспрашивать, где был оставлен Дима. И тут он сказал, что в поезде есть один мальчик в очках, что ему на вид, примерно, лет пятнадцать, только он очень слаб. Тогда у меня мелькнула безумная надежда — а вдруг это Дима. Я побежала к вагону, на который указывал красноармеец. Юрик, уцепившись за мою руку, бежал тоже. Опередив нас, усатый солдат вскочил в вагон. Я стояла у подножки ни жива, ни мертва. Может быть, прошла минута, не больше, как в дверях показался Дима: бледный, опухший, слабый до крайности, но живой. Ему помогли спуститься по ступенькам вагона и я уже обнимала его. А он валился на снег — ноги не держали. Вероятно, эта сцена растрогала окружающих. Толпа вокруг нас росла. Я бросилась благодарить бойца, который привёл нас к этому вагону. Он же дал совет: «Обратитесь к начальнику поезда. Ещё несколько минут будем стоять». Если бы он не посоветовал, мне бы в голову не пришло просить о посадке в этот сияющий, состоящий из салон-вагонов поезд. Я смотрела на

эти салоны, как на что-то недостижимое. Итак, я поднялась в штабной вагон. Мне удалось сразу найти главного врача. Сбиваясь на каждом слове, я рассказала ему свои мытарства. «Подождите одну минуту», — сказал он и быстро куда-то ушёл. Действительно, через минуту-две он вернулся и предложил немедленно грузиться в санитарный поезд. Я бросилась назад, позвала няню, попросила людей, стоявших на платформе, помочь с погрузкой. Тут и Гаврилова мгновенно переменялась. Куда девалось её озлобление. Только мы успели подхватить свои узлы и чемоданы, поезд двинулся.

Я чуть-чуть пришла в себя лишь тогда, когда уселась у широкого зеркального окна, того самого окна, у которого сейчас пишу. Я видела как удаляется от нас Череповец. Сколько выстрадать пришлось в этом городе, где мы прожили месяц и шесть дней. Ведь эти дни могли показаться вечностью. Трудно с чем-либо сравнить радостное сознание облегчения, что мы покидаем это злосчастное место. И одновременно тоска сжимает сердце от мысли, что здесь, в общей могиле, похоронена мама.

18 марта.

Сегодняшнее утро богато счастливыми минутами. Прежде всего мы хорошо выспались, впервые после многих тревожных дней и ночей. Я пошла к начальнику поезда, чтобы узнать до какого места он позволит ехать. Когда он узнал, что ближайший большой пункт — Вологда меня

не устраивает, то разрешил ехать дальше: «Можем довести вас до Байкала». Чтобы оформить наше положение в поезде, он предложил мне работать машинисткой. Тем более, что моя машинка была со мной. Спустя полчаса, я уже сидела в канцелярии штаба и предо мной лежали какие-то сводки — их надо напечатать. Мои опухшие пальцы не попадают на клавиши — последний раз я печатала месяцев пять назад. Надеюсь, что опухоль спадёт, пальцы станут поворотливей. Главное, кажется, кончились унижения, выпрашивание куска хлеба. Ведь тут я по самому настоящему приказу служащая поездного штаба. Да и Юрик, впервые в жизни, оформлен по всем правилам, для того, чтобы ему был гарантирован паёк, он включён в число санитаров, правда без указания возраста. А возраст его всего-навсего неполных шесть лет.

Значит, мы спасены. Когда я пишу эти строки, поезд миновал Вологду, едем дальше, в Пермь. Мелькают занесённые снегом поля, леса, деревни. Поезд уносит нас всё дальше. Позади бомбёжки, обстрел, голод, мрак, смерть.

19 марта.

Итак, мы теперь служащие санитарного поезда и едем, по-видимому, в Сибирь. Дима рассказал мне свои приключения в Череповце. Он всё же получил одно из моих многочисленных писем и узнал о нашем с Юриком местонахождении. Он это передал начальнику госпиталя, который и решил отправить его с первым санитарным поездом,

идушим в глубь страны, с тем, чтобы выпустить в Череповце. Санитарный поезд пришёл в Череповец поздно вечером. Поблагодарив начальника поезда и распрощавшись с командой (от Тихвина до Череповца они ехали четыре дня, так что все уже были осведомлены о присутствии в их эшелоне мальчика, разыскивающего свою семью), Дима двинулся по имеющемуся у него адресу. Каково же было его разочарование, когда он узнал от моих хозяев, что я с Юриком и няней в тот же день утром выехала из Череповца. Хозяин передал ему те деньги и вещи, которые я оставила на всякий случай для передачи Диме, и он грустно побрёл обратно на вокзал. На его счастье, поезд ещё не ушёл, и начальник, Дмитрий Александрович Казаков, согласился опять взять его и довести подальше в тыл, хотя бы до Вологды. А в это самое время мы были ещё в Череповце, но не желая беспокоить моих хозяев, с которыми я уже рассчиталась и распростилась, ночевали все вместе у хозяйки Гавриловой и, уйдя утром на станцию, ничего не знали о том, что произошло. То, что мы встретились, было спасением Димы. Он был настолько ещё слаб, что один никогда бы не смог преодолеть всех трудностей. Ни в один военный лазарет его бы не приняли, так как он не был военным.

Начальник поезда вызвал меня и спросил о моих планах. Я показала ему свою эвакуационную справку с назначением в Пятигорск. Этот же поезд шёл в Сибирь. Дмитрий Александрович задумался, не зная, как лучше посту-

пить с нами. Пока что решили, что доедем до Вологды, а там видно будет. Всё-таки подальше в глубь страны.

Едем очень медленно. На каждой станции продолжительные остановки. Я этому бесконечно рада, так как боюсь опять остаться без крыши и без питания с мальчиками и няней, которая тоже ещё очень слаба. Дима, Юрик и я получаем пайки, которые так велики, что мы их съесть не можем и делимся с няней и Гавриловой. Юрочку я почти не вижу, так как он целые дни проводит среди раненых. Все его полюбили и с удовольствием с ним разговаривают и развлекаются, а он уже знает их всех по именам и считает своими друзьями. Моя работа заключается в том, что я с утра печатаю военные сводки для комиссара поезда. Это не занимает больше двух-трёх часов в день. Сначала комиссар довольно неодобрительно посматривал на мою работу, так как пальцы в первые минуты отказывались повиноваться; они скорее похожи на какие-то деревянные обрубки, чем на часть человеческого тела, но уже через час мне удалось приноровиться, и он смягчился. Своим видом этот комиссар может напугать любого: высокий, толстый, с рябым лицом, красноватыми волосами и маленькими пронизательными глазками под нависшими бровями. Он, да ещё представитель НКВД, молодой бойкий малый, даже красивый, но неприветливый, с холодными серыми глазами, внушают мне некоторый страх. Остальная же команда поезда, особенно начальник и заведующий хозяйством приняли нас, как своих близких.

Диму начальник поезда перевёл из вагона раненых красноармейцев в вагон обслуживающего персонала, в котором спим и мы с Юриком. Это было очень любезно с его стороны, а мне очень удобно, так как я теперь хожу сама на кухню за обедом для всех нас. Повар оказался пресимпатичнейшим украинцем, которого, видимо, тронула наша судьба, и он мне всеми средствами помогает подкармливать Диму.

20 марта.

Нам разрешено продолжать путешествие с санитарным поездом и после Вологды. Комиссар, которого я так первые дни боялась, дал хороший отзыв о моей работе уполномоченному НКВД, и ему мы, видимо, своим присутствием не мешаем, он нас даже не замечает, так как всецело занят своим романом с хорошенькой медсестрой. Думаю, что это она влияет на него благотворно, так как она очень привязалась к Юрику, напоминающему ей её маленького брата, и все свободные от службы и любви часы она таскает Юрия по вагонам раненых, забавляется с ним и всегда в хорошем настроении. От чего иной раз зависит судьба человека!

Благодаря этому новому решению начальства оставить нас в поезде до Сибири, я меняю свои планы и думаю, что самое лучшее нам всем поехать к двоюродному брату в Сибирь, куда он эвакуировался из Москвы несколько

месяцев тому назад и устроился по своей специальности в театре. Главную роль в этом решении играет желание не расставаться с командой санитарного поезда. Отношение к нам всех этих людей настолько отличается от всего того, с чем пришлось столкнуться за время наших скитаний, что я просто боюсь их потерять.

22 марта.

Сегодня, проснувшись рано утром, я услышала переговоры двух молодых сестёр, спавших в том же отделении, что и мы с Юрием. Они говорили о каком-то новом распряжении, полученном накануне вечером. Направление поезда изменено. Вместо Сибири, мы едем на север, в Соликамск. Будто бы там должны выгрузить всех раненых (значит, и нас) и поезд налегке двинется опять на фронт за новым грузом. Я сразу же пошла к начальнику узнать лично от него о перемене маршрута и о нашей судьбе в связи с этим. Дмитрий Александрович подтвердил услышанный мною разговор. В Соликамске он действительно должен разгрузить весь поезд, остаться должна только одна команда. Я ему сказала, что у меня нет ни одной души знакомой в этом городе, что меня пугает перспектива очутиться опять с детьми и старушкой в таком отдалённом, северном и холодном городе в полной неизвестности. Переговорив с комиссаром, начальник пообещал мне довезти нас обратно до Перми, а потом уже решать дальнейшее. Это был великолепный выход из положения.

Во-первых ещё не меньше недели мы могли оставаться в санитарном поезде, а это в настоящих условиях уже очень много. Кроме того, через этот промежуток времени, мы опять будем на главной магистрали, идущей в Сибирь и на Кавказ. На дальнейшее пребывание в санитарном поезде больше надежды не было, так как, после сдачи раненых, им было предписано немедленно двигаться к Ленинграду. Доктор Казаков объявил мне, что санитарные поезда тоже подвергаются обстрелам и бомбёжкам. Им уже неоднократно приходилось выбрасываться из поезда и прятаться от бомб в ближайших к полотну железной дороги канавах, лесах, а иногда просто лежать в открытом поле. «Нельзя вам рисковать тем, что ваши дети будут убиты на ваших глазах», привёл он самый убедительный для меня аргумент, повлиявший на моё решение.

23 марта.

Едем мимо Урала на север. Сiju часами около громадного окна штабного вагона, где теперь устроено мое бюро и любуюсь необычайно красивой, суровой северной природой России. Много слышала раньше о красотах Приуралья, но видеть пришлось впервые. Завтра должны быть в Соликамске. Юрий уже грустит, что придётся расставаться со всеми его приятелями, ранеными. Вчера вечером офицер хозяйственной части, очень славный человек, который невероятно балует Юру, разрешил ему изображать дежурного по поезду. Надо было видеть гордость Юрика,

ушедшего до ушей в большую офицерскую фуражку, с кобурой от револьвера на поясе и с невероятно серьёзным видом марширующего по коридору штабного вагона. Всё начальство, включая комиссара и начальника поезда, наблюдали эту картину, сдерживая улыбки, чем ещё более способствовали уверенности Юры, что он действительно настоящий дежурный при исполнении своих служебных обязанностей.

24 марта.

Все утро выгружали раненых. За это время — восемь дней пути все так сжились, что расставание было крайне тяжёлым. Мы, окрепшие и как бы переродившиеся в этой благоприятной для нас обстановке, тоже реагировали иначе, чем два месяца назад в голодном Ленинграде, когда равнодушно переступали через трупы. Окаменелость и безразличие, свойственные всем ленинградцам этого периода, исчезли. Юрик просто рыдал, когда уносили на носилках всех его друзей. Мне тоже было весьма грустно. Хорошо знаю, что эти мальчики далеко не последние. Сколько ещё жертв будет принесено этой войне?

26 марта.

Едем обратно пустым эшелоном: команда, да нас пять человек. Дима так поправился за это время, что его не узнать. Точно на курорте побывал. Поезд по-прежнему

часто стоит на станциях. Такое впечатление, что никто не торопится. Откровенно сказать, меня это удивляет, ведь всем известно, какой у нас недостаток в транспорте. На остановках нам разрешают уходить в лес, в близлежащие деревни. Команда почти каждый день занимается всевозможными военными упражнениями. Юрика они берут с собой, к великому его удовольствию. Возвращается с этих занятий он таким румяным, свежим и здоровым, что трудно представить, что это тот же ребёнок, который ещё так недавно, бледный и апатичный, переставал уже реагировать на жизнь.

27 марта.

Сегодня совершили поход в деревню и обменяли там на разные вещи целую ногу телятины. Здесь крестьяне не избалованы так, как под Ленинградом, и очень падки на всякие носильные вещи, в которых чувствуется большой недостаток. В эти морозы (теперь больше 40), многие даже не могут выйти на улицу, так как нет тёплой обуви и одежды. Так что пара валенок здесь на вес золота. По возвращении в поезд телятина была передана повару, и он нам устроил настоящий пир, прибавив ещё к жаркому соответствующий гарнир, в виде картошки и овощей. Вся команда была приглашена.

В нашем купе три девушки в чине лейтенантов, они целыми днями теперь играют на гитарах и поют песни.

Путешествуем весело. Вот только с моей старушкой произошёл такой казус, что представитель НКВД чуть её не высадил. Она решила гадать на картах. Конечно, вся молодёжь команды обступила её в большом оживлении и не заметили проходящего Данилова. Последний рассердился невероятно и пригрозил, что снимет с поезда. Бедная старушка перепугалась до смерти, запрятала свои карты и сидит ни жива, ни мертва. Особенно ей неприятно, что она лишилась всех тех богатых преподношений, которыми оделяли её восторженные поклонницы её таланта. Наши девушки тоже взгрустнули, не слыша больше предсказаний о таинственном трефовом короле и предстоящем свидании или о ревливой сопернице и победе над нею.

1 апреля.

Поезд опять подходит к Перми. Я рассказала начальнику, что у меня здесь недалеко двоюродная сестра с сыном, эвакуированные с Эрмитажем из Ленинграда в начале войны. Он мне предложил их разыскать. Поезд застрянет в Перми на несколько дней. Очень хотелось бы повидаться и поговорить с Мариной, а может быть даже остаться с ней, но всё-таки пересилило желание не покидать поезд и наших друзей, с которыми так хорошо провели больше двух недель. Сегодня Дмитрий Александрович высказал мне, что он и его сослуживцы не возражают, если мы останемся в поезде ещё некоторое время, несмотря даже на возможность неприятностей со стороны инспекций,

которые изредка имеют место в подобных поездах. Всё же он считает, что самый важный вопрос тот, о котором он мне говорил раньше — опасность бомбёжек и обстрела. У меня ещё другие сомнения: нужно помочь няне добраться до её родины — Горьковской области, где она мечтает прожить до конца войны. Беспокоит меня и вопрос что делать с Юрием. Окружённый всеобщей любовью и вниманием, он совсем от рук отбилсь. Бывают случаи, что поезд трогается, а его нет в вагоне. Не спрашивая никого, он вылезает из вагона на остановках. Для ребёнка такая жизнь на колёсах совершенно ненормальна. И, наконец, станции и железнодорожные пути ужасно загрязнены. Ведь идут непрерывные эшелоны товарных поездов, набитых эвакуируемыми, уборных в поездах, конечно, нет и всё совершается прямо на путях, между вагонами, убирать же некому. При таком холоде это не опасно, а что будет, когда наступит весна? Доктор Казаков предвидит сплошные болезни.

6 апреля.

Всю дорогу от Перми до Кирова промучилась сомнениями. Страшно было покинуть санитарный поезд и всех этих отзывчивых людей, помогших нам в такую трудную минуту. Два дня тому назад утром я стояла в штабе и изучала карту, когда подошёл Дмитрий Александрович и сказал: «Видно, вас всё ещё тянет на Кавказ, а я бы советовал ехать в Сибирь, там всё же будет безопаснее, поезжай-

те к моей семье (он был из Красноярска), они вас примут, помогут».

Какое-то чувство мне подсказывает, что он прав. Не раз приходилось слышать, что люди в Сибири особенные, гостеприимные, как нигде. Страна была всегда богатой, и люди там большого размаха, не мелочные. Да кроме того, у меня набралось много писем, как от Дмитрия Александровича, так и от других служащих поезда к родным и знакомым. Этот поезд формировался в Красноярске, и многие из команды были уроженцами Сибири. Мысли о Кавказе мешали принять это благоразумное решение. Фронт от Пятигорска был так далёк, что как-то даже странно было думать об опасности. Главное же, что нас всех, а особенно Диму, привлекало солнце и тепло юга. Не видно было конца зимы. С октября мёрзли в Ленинграде, вначале от недостатка топлива, а с декабря, когда все окна были выбиты и заделаны фанерой, и топливо не помогло бы — всё равно жили, как на улице. В Череповце, во время нашего пятинедельного пребывания, тоже стояли сильные морозы. Теперь перспектива ехать в Сибирь, где ещё не скоро наступит лето, пугала всех. Мучительно колебалась.

Решение было принято как-то сразу, сегодня утром. Быстро сложили немногочисленные вещи, бывшие с нами, более крупный багаж был не распакован. Команда помогла нам перенести все вещи на другие пути, по которым должен был идти поезд на Горький. Через Горький

лежал наш путь на Кавказ. Пришлось наскоро распрощаться с нашими друзьями, которые не могли долго задерживаться, ибо их отпустили только на полчаса.

Когда поезд подошёл стало ясно, что нам не пробиться через густую толпу, стоявшую на платформе, на лестницах в вагоны, в проходах, на буферах. Люди сидели и лежали на крышах вагонов, гроздьями обвисали весь поезд. Видя наше замешательство и даже отчаяние, какие-то услужливые люди подхватили наши чемоданы и старались протолкнуть нас, но в эту минуту поезд тронулся, нас оттолкнули, а часть вещей осталась в поезде. На наше счастье заведующий хозяйством санитарного поезда, Новосёлов, лучший приятель Юры, возвращался из Кирова, где у него жила сестра, с которой он провёл весь этот день и должен был нагнать санитарный поезд позднее вечером. Он взял инициативу в свои руки, помог нам сдать багаж на хранение (камера хранения багажа была настолько переполнена, что от гражданских лиц вещи уже давно не принимались и весь народ сидел на своих вещах на привокзальной площади, под дождём и снегом). После этого он устроил нас в большую светлую комнату над помещением вокзала, где могли ночевать только семьи командного состава. Пробирались мы в эту комнату с невероятным трудом через лежащих вплотную людей, которыми был заполнен весь вокзальный зал и которые ещё были счастливыми в сравнении с народом, проводившим ночь на дворе. Мы случайно оказались «в первом кругу»

людей нашей страны, где так много кричат о равноправии. Это положение «избранных» было крайне приятным, особенно, когда я увидела застланные чистым бельём кровати и когда, подойдя к окну и открыв занавеску, посмотрела что делается на площади.

С апрельского неба вперемежку с дождём падал снег.

8 апреля.

Вчера в десять часов вечера мы благополучно прибыли в Горький. Отъезд из Кирова был нелёгким. Зная уже, как трудно влезть в поезд, я заранее наняла двух здоровых красноармейцев (ещё, вероятно, не побывавших на Ленинградском фронте!), которые ехали в том же направлении, что и мы, и у которых, к счастью, не было вещей. Они охотно согласились нам помочь. Растолкав локтями толпившихся у дверей вагона людей, они с молниеносной быстротой протолкнули нас и наши вещи внутрь, так что мы пришли в себя уже на полу переполненного вагона. Во всяком случае, на этот раз все были вместе: няня, Гаврилова, Дима, Юрик и я, а с нами наш, ещё более теперь немногочисленный багаж. Все сидели на полу, да и то тесно сжавшись, так как мест свободных не было, даже в сетках для багажа примостились люди. Юрика тотчас же забрал какой-то военный с бесконечным количеством орденов на груди и так и не отпускал его всю дорогу до Горького, уступив ему даже уголок своей скамейки, где устроил ему нечто вроде постели. Хотя вагон был перепол-

нен до отказа, от духоты трудно было дышать и все члены затекали от скорченного, неудобного сидения на полу, я была так счастлива, как никогда раньше, когда бывало в мирное время, международный вагон уносил меня из Ленинграда на приморский курорт в Крым или на Кавказ. Как всё в жизни относительно!

В десять часов вечера, на следующие сутки, подъезжаем к Горькому. И здесь пахнет войной. Вокзал затемнён до такой степени, что ни зги не видно. Начинается процедура сдачи наших вещей в камеру хранения. К моему удивлению, здесь это происходит много легче, чем в Кирове. Видимо, меньше беженцев. Ко мне подходит какой-то человек в штатском и предлагает провести в комнату «матери и ребёнка». Я иду за ним и нахожу, что здесь несравненно лучше, чем на Кировском вокзале, где люди спят и сидят на полу. Со мной Юрий, Гаврилова же с Димой и няней заняты перетаскиванием вещей. В то время, как няня осталась караулить последнюю партию вещей, сторож, в темноте, царящей повсюду, закрыл калитку, выходящую на перрон. Перепуганная старушка начинает звать на помощь. Дима, в ужасе, мечется по другую сторону чугунной решётки. Прибегает ко мне, чуть не плача. Оставляю с ним Юрочку, а сама иду к начальнику станции, который хоть и обругал меня, но всё-таки дал распоряжение открыть калитку. Наконец мы все благополучно собрались в комнате матери и ребёнка и стали обсуждать наши дальнейшие действия. Пятигорск, куда

мы стремились, был ещё очень далёк, и как туда добраться? Я вспомнила, что в Горьком когда-то жила моя большая приятельница юности, Вера. Возможно, что она никуда не переехала. С начала войны я не получала от неё никаких известий. Надо было найти телефон, в существовании которого я была далеко не уверена. Уже почти шесть месяцев, как телефон был нечто, отошедшее в вечность. Была радостно изумлена, когда не только телефон, но и телефонная книга оказалась в моём распоряжении. Веру нашла очень легко, она даже жила на той же самой квартире, как семнадцать лет назад. Пригласила всех к себе. Не надеясь найти в такой поздний час какой-либо транспорт, мы двинулись пешком. От вокзала это было километров пять. Счастливая случайность — на площади стоит пустой трамвай. Должен совершить последний рейс в центр города, куда нам и нужно. Вылезаем у Чёрного Пруда, место знакомое мне ещё с детства, где детьми катались на коньках. Город за те семнадцать лет, что я в нём не жила, очень изменился, а полное затемнение способствовало ещё более тому, что всё казалось каким-то чужим и странным. Много снега. По-видимому, тоже некому убирать, как и в других городах. Посреди улицы — узкая тропинка между сугробами. Бредём гуськом. Вся эта картина создаёт какое-то впечатление нереальности. К тому же усталость и все пережитые волнения. Мне начинает казаться, что я сплю и мне снится сон. Иногда во сне бывает такое ощущение, кажется, что ты уже была здесь, шла этой дорогой, видела эти места, город, дома, но в то

же время не можешь отдать себе ясный отчёт и вспомнить когда и где это было. Не можешь найти то, к чему стремишься, и плутаешь, плутаешь без цели. Я высказываю эти мысли вслух и ужасно пугаю ими Юру. Он начинает плакать. Наконец всё-таки добираемся до дома, где живёт Вера с дочерью Наташей. Значит, опять посчастливилось, есть кров над головой.

11 апреля.

На другой же день по приезде, мы с Димой отправляемся к одному доктору, который раньше лечил всю нашу семью, а теперь оказался «большим» человеком, членом Ленсовета и весьма влиятельным лицом в городе.

Важное положение не изменило его характера, он остался тем же милым дядей Сашей, как мы его звали раньше. Принял нас удивительно сердечно и сразу же дал несколько рекомендательных писем к разным ответственным лицам города. Его имя оказало магическое действие. Не пришлось стоять в длинной очереди перед дверью горкома Партии. Я передала служащему, проверявшему документы, письмо дяди Саши. По привычке приготовилась долго ждать. Оказалось, что имя доктора Иванова заключало в себе большую силу. Служащий горкома растолкал народ, стоящий впереди меня, и любезно пригласил следовать за ним. Провёл прямо в кабинет того, перед кем трепетал весь город. Это был кабинет секретаря Горьковского горкома Партии. Через каких-нибудь десять минут

я уже выходила с тремя справками на руках: две из них означали специальные пайки, а одна была дана на выезд из Горького особым транспортом, идущим по направлению Кавказа.

13 апреля.

Полученное нами продовольствие по справкам горкома, привело в восторг и полное недоумение Веру и Наташу. В Горьком тоже господствовал голод. Выдачи продуктов по карточкам с первых же дней войны были очень ограничены. Часто нельзя было получить того минимума, который причитался жителям Горького. Вечно что-нибудь отсутствовало. Продовольствия, выданного нам в двух распределителях, хватило бы на несколько семей. Главное же заключалось в том, что в этих пайках были и такие продукты, которых жители не видели уже с самого начала войны. Везде одно и то же. Только на этот раз, по какой-то счастливой случайности, ми попали в число привилегированных.

15 апреля.

Сегодня я предприняла разные ходы в отношении нашей отправки. Так как на нашей эвакуационной справке стоит место назначения Пятигорск, то Горьковское начальство, несмотря даже на рекомендации дяди Саши, не будет очень осчастливлено нашим долгим присутствием в го-

лодном городе. Не могу забыть пребывания в Череповце и вечного вымаливания продуктовых карточек. Кроме того, война в Горьком очень чувствуется. Довольно часто бывают перебои с хлебом. Жители бегают из одной лавки в другую и возвращаются с пустыми руками. Конечно, не голодают так, как в Ленинграде, ибо деревня всё же снабжает молоком и овощами. Цены на эти продукты, правда, неприступны для среднего обывателя: литр молока 60 рублей, кило моркови тоже 60, масло 700 рублей кило, и всё в этом роде. У меня с собой четыре тысячи рублей, это даже меньше чем на шесть килограммов масла.

Затемнение постоянно напоминает о грозящей опасности. Изредка пролетают самолёты, по-видимому, вражеские, зенитки стреляют, кое-где падают бомбы. Всё время идут разговоры о быстром продвижении немцев, о взятии всё новых городов и населённых пунктов. Даже говорят о том, что Горькому может грозить опасность вторжения немцев. Последнее, думаю, выдумки паникёров. Всё же надо хлопотать об отъезде. Спаслись из Ленинграда и опять всё сначала переживать в Горьком, это уже совсем дико. Тем более, что какая-то реальная возможность отъезда предвидится.

18 апреля.

Уезжать из Горького мне очень не хочется. Под покровительством дяди Саши живётся прекрасно. Продоволь-

ствия сколько хочешь. Все удивительно хорошо относятся, стараются во всём помочь. Из любопытства я заглянула в одно, из ещё не переданных по назначению писем, данных мне дядей Сашей, чтобы понять причину такого неприличного и исключительного к нам отношения со стороны «сильных мира сего». Прочтя же, смеялась до слёз. Дядя Саша, зная хорошо нравы наших властителей, великодушно произвёл моего мужа в начальники всего Ленинградского Военного Транспорта, когда он был всего только начальником транспорта эвакуационного пункта, которых в Ленинграде, конечно, не один. К счастью, Горьковское начальство или не разобралось или не хотело разобраться, ибо эта справка была подписана членом Ленсовета доктором Ивановым, имеющим в Горьком такой вес, что невозможно даже усомниться в правоте его слов.

20 апреля.

Вера умоляет меня не уезжать из Горького, а одна крупная местная организация советует ехать в Сибирь с особым транспортом, идущим на озеро Байкал. Я опять колеблюсь и не знаю на что решиться. Оба предложения заманчивы. Байкал же так далеко, что туда уж никак не докатиться войне. Опять мои сомнения разрешаются помимо меня. Телефонный звонок, и начальник Горьковского эвакуационного пункта, к которому у меня тоже было рекомендательное письмо от дяди Саши, сообщает, что сегодня же уходит поезд на юг и три вагона по направ-

лению Минеральных Вод. Для нас всех есть места. Укладываемся в страшной спешке. Продовольственные запасы оставляем Вере, кроме хлеба, который надо взять с собой, чтобы не попасть в затруднительное положение. Мы привыкли ценить хлеб дороже золота. Даже такая роскошь, как такси, проезжает мимо, мы его останавливаем и благополучно добираемся до вокзала, где на путях уже стоят вагоны специального транспорта на Кавказ. В вагонах на Минеральные Воды уже ждут люди, такие, как мы, эвакуированные из Ленинграда и задержавшиеся по разным причинам в Горьком. Устраиваемся опять в товарных, но на этот раз, довольно прилично оборудованных вагонах. Второй этаж представляет собой деревянные настилы, на которых вполне можно спать. Посреди — печурка для приготовления еды. Так как в каждом вагоне не больше двадцати человек, то места вполне достаточно. Публика, на первый взгляд, производит приятное впечатление. Не видно лиц подобных тем, с которыми пришлось совершать путешествие из Ленинграда до Череповца. Чудный весенний вечер. Солнце заходит. В ожидании отъезда мы стоим с Верой на берегу разлившейся Оки и вспоминаем юность, проведённую вместе в Горьком. Здесь всё для меня такое близкое и родное. Вера тоже волжанка, только она из Саратова. Она вышла замуж за моего друга детства и с ним переехала в Горький. В тот же год и я вышла замуж, и наши дети родились почти одновременно. Нас связывало многое, а теперь надо было расстаться в такое тревожное время и кто знает надолго ли?

23 апреля.

Старушка няня захотела слезть с поезда на станции Оброчное, где у неё живут родственники и откуда она сама родом. Путешествие в неизвестность, на Кавказ, после всего пережитого и перенесённого ею, казалось особенно страшным. Ведь я сама ехала туда, не зная даже, жива ли сестра мужа, жившая раньше в Пятигорске. Ответа на мою телеграмму с запросом из Череповца я так никогда и не получила. Взять на себя ответственность и уговаривать няню продолжать с нами путешествие в неизвестность — я не могла, и мы расстались, тоже не зная встретимся ли когда-нибудь. *)

Расставание с няней обострилось ещё грустью воспоминаний. Мы проезжали мимо бывшего имения моего отца. Колонны белого дома, просвечивающие среди ещё голых деревьев, большой старый парк вокруг, въездные ворота, широкая аллея, ведущая к подъезду — всё это, как сон, промелькнуло перед глазами, вызвав в памяти бесчисленные картины прошлого, детства, которое в памяти каждого человека остаётся светлым пятном.

*) Ни с Верой, ни с няней не пришлось больше встретиться. Относительно Веры я узнала всего несколько лет тому назад, что она пережила войну и живёт теперь в Москве с замужней дочерью Наташей, мужем дочери и внуком. Няня умерла через год, то есть в 1943 году. По-видимому, истощённый ленинградским голодом организм не поправился, и у неё не хватило сил преодолеть ещё многие затруднения порождённые войной. Она умерла у себя на родине, среди своих односельчан и родных.

25 апреля.

Жизнь не даёт времени предаваться воспоминаниям и грустить. Сегодня наш вагонный уполномоченный принёс тревожное известие. Наше направление было Поворино-Сталинград, но железнодорожное начальство, перепутав, по-видимому, свернуло наш транспорт на станцию Лиски, откуда дорога шла на Ростов. Мы стали обсуждать создавшееся положение и поняли всю оплошность, допущенную железнодорожниками: эта дорога проходила недалеко от линии фронта и, что было самым главным, на ней не было эвакуационных пунктов, снабжающих нас, беженцев, продовольствием.

27 апреля.

Завезли нас на станцию Лиски и предали забвению. Стоим на 13-м пути, кругом ни души, вблизи какие-то полуразбитые составы, отдельные вагоны, полная мерзость запустения. Положение становится угрожающим. Запасы продуктов у всех обитателей нашего вагона уже несколько дней не пополняются. Даже воды трудно добыть. На наше счастье, мы получили так много хлеба перед отъездом из Горького, что не только сыты, но ещё делимся с одной женщиной, у которой двое детей и весь, взятый в дорогу хлеб, вышел. Если это положение затянется, то опять будем голодать. Дима просто в ужасе. Больше всех возможных опасностей, он боится повторения ленинград-

ского голода. Он считает, что наш уполномоченный по вагону недостаточно энергичен. Веря в меня, он убеждает всех поручить хлопоты с отправкой мне. В результате все действительно решили, что женщине в таком положении легче чего-нибудь добиться, и выбрали меня представительницей нашего маленького транспорта из трёх вагонов. Со мной двинулись все женщины и дети. По дороге, чтобы ободрить их, я напомнила, что революцию в Петрограде в 1917 году делали женщины, изведённые очередями и вышедшие на улицу с плакатами и требованиями «хлеба».

В первой же инстанции, в горсовете, потерпели полное фиаско. Заведующий горсоветом, к которому мы всей оравой проникли, остался непоколебимым, наша делегация никакого впечатления на него не произвела; несмотря на все наши просьбы, он повторял всё то же самое: «У меня здесь эвакопунктов нет. Кто же должен давать вам хлеб? Не могу же я уделить вам из норм, полученных на население города, тогда они будут голодать». Стараясь употребить всё своё красноречие, я доказывала, что из годичных запасов можно же выделить на двадцать человек, чтобы не дать людям, вырвавшимся из блокады, умереть с голоду на станции Лиски. Ничего не помогло. Представитель власти, кстати весьма цветущего вида, упорно стоял на своём и уже начал раздражаться нашими просьбами. Вид измученных женщин и детей совершенно его не трогал. Глядя на его тупую красную физиономию, я подумала, что,

наверное, он не мало присваивает этих, оберегаемых им, запасов. Конечно, сказать что-либо подобное не осмелилась, боясь испортить ещё более наше положение и чувствуя себя ответственной за наш транспорт. Да и двадцать пять лет советской власти приучили нас всех к молчанию. Так, не солоно хлебавши, мы покинули первый пункт наших надежд. Второй инстанцией было НКВД, где нам всё же удалось разжалобить молодого дежурного, который извлёк откуда-то талоны на обед. Это уже было большим достижением. Правда, на получение целого обеда для каждого человека из нашего транспорта, этих талонов хватить не могло, но мы всё-таки разделили так, что каждый что-то получил. Теперь оставалось добиться самого главного — немедленной отправки наших трёх кавказских вагонов. Об этом надо было договориться с начальником станции. Железнодорожники оказались самыми сговорчивыми и отзывчивыми людьми. Кроме того, им было совершенно ясно, что с нашим транспортом произошло какое-то очередное недоразумение и кто-то из дежурных, по нерадению, отправил наш состав на дальний запасный путь, где он мог простоять ещё очень долго, если бы мы не всполошились и не пошли хлопотать. Выразившись очень резко по адресу своих коллег, допустивших такую ошибку, они нам пообещали немедленно отправить наши вагоны дальше на Ростов. Мы вернулись с этой радостной вестью к ожидавшим нас в вагоне старикам и инвалидам, которые не могли принять участия в нашем походе. Действительно, через полчаса вагоны задвигались, нас прицепили к

какому-то составу, и мы покинули злосчастную станцию Лиски.

29 апреля.

Приближаемся к Ростову. Весна в полном разгаре. Дверь теплушки закрывается только на ночь. Погода дивная. Перед нами мелькают поля, луга, деревни, всё это залито весенним солнцем. Как-то становится легче жить, и опять появляются надежды на лучшее будущее. Юрик занимает место перед настезь открытой дверью с раннего утра и до позднего вечера. Он очнь любознателен и всё его интересует. На станциях стали появляться крестьяне, меняющие различные продукты питания на вещи. Деньги совсем не в ходу. Где поезд останавливается, там сразу же образуется целый базар. Женщины нашего вагона распаковывают свой багаж и рады получить в обмен на вещи всевозможную еду. Яйца, молоко, масло и другие свежие деревенские продукты дороже всех драгоценностей. Трудно передать словами счастье обитателей нашего вагона, которым теперь больше не угрожает голод.

Как всё в жизни относительно! Могла ли я думать ещё год назад, что обладание двухфунтовым запасом масла и несколькими десятками яиц, наполнит меня таким беспредельным блаженством!

1 мая.

Проехали Ростов и вздохнули совсем свободно. Это уже линия, по которой много эвакуируемых, на каждой

станции специальные пункты, где выдают по справкам обед и хлеб. Главное же, теперь стоит чудесная весенняя погода, кругом сплошное море белых цветов яблонь и других фруктовых деревьев. Тепло, как летом, а мы ещё одеты по-зимнему. Только что проехали Армавир, где по случаю Первого мая получили великолепный обед: суп, котлеты с картофелем и на сладкое компот.

2 мая.

Подъезжаем к Минеральным Водам. Гаврилова, которая весь путь от Череповца проделала с нами, порой целые ночи не давая мне спать своими опасениями, что нас послали таким опасным путём, недалеко от фронтовой линии, теперь опять волнуется, не спит ночи, без конца вздыхает. Настоящие волнения и другого рода — она не может решить продолжать ли ей путь с нами или ехать в Баку к родным мужа. Я её не уговариваю. Во-первых, сама еду в полную неизвестность, а во-вторых, как у нас говорится: «в беде познаются люди» — и вот именно в беде пришлось хорошо её познать. Пусть уж лучше устраивает свою судьбу самостоятельно или с помощью родственников. К счастью, она решила ехать в Баку. Сейчас три часа дня. Через час мы будем в Минеральных Водах, а там пересадка на Пятигорск. Что-то нас ожидает там?

Пятигорск

(3 мая — 9 августа 1942 года)

3 мая.

Тепло распроставшись со всеми пассажирами нашего вагона, с которыми тесно сжились за эти две недели пути и довольно холодно с Гавриловой, мы высадились на перроне Минеральных Вод. Вскоре подошёл поезд, идущий в Кисловодск. Кое-как, с помощью бывших на перроне людей, угадавших в нас эвакуированных ленинградцев (оказывается, в то время на Кавказ прибыл уже не один эшелон из Ленинграда), мы разместились в поезде, показавшемся нам сказочно-чудесным после тех, на которых пришлось путешествовать по выезде из Ленинграда. Всё казалось таким невероятным, точно во сне. Публика, вокруг нас, сидела весёлая, приветливая, одетая по-летнему. Вагоны блестели чистотой, а за окнами мелькали прелестные виды кавказских предгорий. В начале мая трава ещё свежая, зелёная, а цветы создавали впечатление сплошного пёстрого ковра. В наших зимних пальто, мальчики к тому же в военных ушанках, подаренных им ещё в санитарном поезде их друзьями, с которыми они не хотели расставаться, — мы представляли собой довольно странную картину. Южане — народ экспансивный, своё сострадание и симпатию они выражают бурно, расспрашивая нас обо

всём пережитом, о войне, о блокаде, голоде. Ахают, охают, дают советы. Постепенно страх неизвестности уступает чувству уверенности в том, что, если и не найдём сестры мужа, то среди этого народа, не пропадём. В Пятигорске всем вагоном помогают нам вылезти, вытащить наши вещи и напутствуют разными добрыми пожеланиями.

Поезд отходит. Мы стоим на перроне и ищем глазами какого-либо возницу, чтобы довести по имеющемуся у меня адресу наши вещи. Жарко. Солнце невыносимо печёт. Снять всю тёплую одежду и нести её кажется ещё тяжелее. Наконец какой-то добродетель присылает нам человека с тачкой, на которую кладём все вещи, а наверх шубы и пальто, и отправляемся в новый поход. Весь город в цвету. От одуряющего запаха кружится голова. В первый раз, за все девять месяцев с начала войны, чувствую себя настолько плохо, что боюсь потерять сознание. Бреду, держась за повозку с вещами, а перед глазами так и летают какие-то чёрные бабочки и мешают видеть дорогу. Мальчишки бодро шагают, радуясь весне, солнцу и дивной природе. Главное же тому, что цель путешествия достигнута. Я не делюсь с ними моими сомнениями о возможном отсутствии Ляли, сестры мужа. Сама же успокаиваю себя той мыслью, что, если никого не найдём, то расположимся на бульваре и будем ждать что будет. Как говорит наша пословица: «Свет не без добрых людей». Подходим к дому — улица Кочуры 34. В окнах — никого. Вход через сад. И здесь всё в полном цвету и благоухает.

Заворачиваем за угол и приближаемся к крыльцу. На ступеньках, греясь на солнце, сидит знакомая фигура — племянница мужа, Таня, которую мы в последний раз видели в Ленинграде шесть месяцев тому назад.

5 мая.

Мать мужа, сестра и её дети приняли нас с искренней радостью и поселили в своей квартире, несмотря на то, что жили очень тесно — семь человек в трёх комнатах. С нами — стало десять. Ляля не хотела слушать о возможности поискать нам квартиру, да и, по правде говоря, это было почти недостижимо. С квартирами дело обстояло всегда не особенно хорошо, а теперь с массой эвакуируемых из Ленинграда и других мест, опасных в военном отношении, стало совсем плохо. Узнаём, что в Пятигорск высланы почти все высшие учебные заведения Ленинграда: Горный Институт, Педагогический, Экономический и прочие. Значит, Кавказ не считается опасным в военном отношении местом. Это успокаивает и нас.

Крупным событием вчерашнего дня был наш с Юрой и Димой поход на базар. Юра был в совершенном упоении от такого количества продуктов: горы масла, сала, яблок, орехов, зелени. Настоящий базар мирного времени. Только цены-то не «мирные». Всё же, по сравнению даже с Горьким, гораздо ниже. Масло можно купить за 150 рублей кило, молоко 10—12 рублей литр, мясо 70 рублей килограмм. Покупаю всё, что попадается, к невероятному

восторгу Юры. Дима, как старший и, зная мои ограниченные средства, держится скромно, но не может отвести глаз от давно невиданных богатств.

Там же на базаре сталкиваемся с артистами Радловского театра; среди них наш знакомый Болховской, которого мы не видели с довоенного времени. Театр уже несколько месяцев эвакуирован из Ленинграда, и артисты с увлечением рассказывают нам о прекрасной жизни в Пятигорске.

8 июня.

Давно не писала. Все дни были заняты оформлением нашей жизни на новом месте. Ведь всё не так просто, как кажется. Врачебная комиссия признала меня временным инвалидом. Ленинградский голод сделал своё дело, и я оказалась нетрудоспособной. Буду получать пенсию в размере 200 рублей в месяц. Кроме того, получаю по военному аттестату мужа — 500 рублей. Ляля зарабатывает в швейной мастерской 800 рублей в месяц, что считается, по здешним понятиям, прекрасным окладом, но, конечно, жить на эти деньги невозможно. Зарплата её мужа — 300 рублей, дочка Верочка ещё учится. Из Киева, занятого немцами, бежал сын Коля с женой. Из Ленинграда приехала племянница — Таня. Живётся им весьма туго. Старушка бабушка ведёт хозяйство, получая от дочери ежедневно 30 рублей на расходы. На эти деньги можно купить щавель и картошку. Из этих продуктов часами варит

на керосинке суп, который является единственным блюдом на обед. Покупать на базаре другие продукты по чёрным ценам они не в состоянии, а по карточкам выдачи ничтожные. Вижу, что и здесь будет нелегко. Вчера я прикрепилась к Ленинградской столовой, помещающейся в здании вокзала. Кормят там очень хорошо. Кроме столовой, для нас, ленинградцев, существует ещё магазин, на который с завистью смотрят все местные жители, как мы, в былые времена, смотрели на ТОРГСИНЫ, где можно было покупать только на валюту или на золотые и серебряные вещи. В Ленинградском магазине мы получили хороший паёк, включающий в себя даже сахар, которого местные жители уже давно не видели. Восторг бабушки, когда я отдала ей половину, был неописуем. Для детей получила ещё конфет. Ленинградцы здесь на особом положении.

9 июня.

Так как моих финансов тоже не может хватить на нашу жизнь, то подумываю о службе. Пошла в одно учреждение, где ищут машинистку, оказалось, что платят 350 рублей в месяц, иными словами немного больше чем на два кило масла. Служба возьмёт у меня всё время, и от пенсии тогда надо отказаться. Да ещё врачебную комиссию придётся убедить признать меня трудоспособной. А разница всего в 150 рублях. Как говорится: «Овчинка выделки не стоит».

Как-то обратила внимание, что весь угол в комнате Ляли завален какими-то свёртками и кусками материи. Спросила её. Оказывается, ей разрешается брать в мастерской все остатки, если они меньше какого-то определённого размера. За время её работы в мастерских НКВД накопилась целая куча, которую не на что утилизировать, только придаёт всей комнате неряшливый вид. Мне пришла идея шить из этих кусков детские платья, фартучки и другие детские вещи. Продавать можно их на базаре, это не преследуется. В пятигорских магазинах никакой мануфактуры уже давно достать нельзя. Швейная же мастерская, в которой работает Ляля, принадлежит НКВД, и жёны служащих этого привилегированного заведения могут покупать в закрытых распределителях. Сначала моя идея показалась всем довольно фантастической, но всё же решили попробовать. Вся молодёжь засела за работу. Всех лучше шьёт Таня, обладающая к тому же хорошим вкусом, Зина — жена Коли и Вера — сестра, помогают. Я шью отвратительно, но под руководством Тани, тоже что-то «творю». Надеюсь, что и мои «произведения искусства» кого-нибудь привлекут.

10 июня.

Невероятный успех. Дима и наша весёлая и энергичная соседка Дина, распродали всю нашу продукцию за два часа. Я этого не знала раньше, но оказывается, что в Пятигорске и до войны было очень трудно с материями и

одеждой, привозили изредка из больших городских центров и сразу же всё раскупалось. С началом же войны всё абсолютно исчезло. Дима с гордостью принёс за один базарный день половину месячной зарплаты Ляли.

15 июня.

Наша работа кипит вовсю. Когда Ляля увидела, что гора хлама постепенно превращается в тысячи рублей, то и она повеселела. За эти, почти шесть недель, что мы здесь, мы как-то даже забыли думать о войне, занятые всевозможными материальными заботами нашего устройства. По радио никаких тревожных известий не передают; некоторые пункты взяты, другие отбиты. Впечатление, что как-будто всё стабилизируется. Может быть, скоро войне конец?

16 июня.

Сегодня узнала, что наш Ленинградский Педагогический Институт, в котором я училась, тоже переехал в Пятигорск. Пошла в канцелярию и там узнала приятную новость, что с осени будут нужны педагоги. Стала на учёт и с 1 сентября могу рассчитывать на работу по специальности. Молодёжь отправляют на полевые работы, но Диму врачи забраковали. Он ещё не оправился после последствий дистрофии.

20 июня.

Наконец стала получать письма от родственников. Сплошной стон. Тётя, жившая в нашей квартире в Ленинграде и эвакуировавшаяся с Людмилой и детьми к своему сыну в Сибирь, пишет, что променяла большую часть своих вещей на продукты и всё же жить очень трудно. Двоюродная сестра устроилась в железнодорожный буфет, но на то, что зарабатывает, может прокормить только одну себя. Тётя с детьми должна жить одним обменом. На сколько же времени может хватить то небольшое количество вещей, которые им удалось захватить с собой из Ленинграда. Мой двоюродный брат, Вася, артист, пользовавшийся большим успехом до войны и очень хорошо зарабатывавший, теперь в таком трудном положении, что вынужден был продать свои золотые часы. Рынки же в Сибири завалены прекрасными вещами, так как там масса эвакуированных из разных городов европейской России, и все вынуждены заниматься главным образом обменом. Двоюродная сестра Марина, которой удалось эвакуироваться в Пермь, где я собиралась её посетить, сойдя с санитарного поезда, пишет, что и сначала-то их кормили плохо, а теперь дошло до предела, и она просит меня помочь ей устроиться в Пятигорске.

25 июня.

Наконец-то списалась с мужем. Он нас совсем потерял из виду. В конце марта ему удалось устроить командиров-

ку в Тихвин, где в начале марта был Дима, и он об этом случайно узнал от одного из своих сослуживцев. Приехал туда, он Диму уже не застал. Дима был эвакуирован в тыл. Он начал искать его по всем госпиталям, но никаких точных указаний, кроме того, что Диму вывезли, он получить не мог. Одно из моих писем всё-таки дошло до него, и он, после неудачи в Тихвине, двинулся в Череповец в надежде найти нас там. И здесь узнал лишь одно, что выехали, но куда именно — никто не мог ответить на этот вопрос. Мои хозяева уверяли, что мы уехали в Сибирь к двоюродному брату, а в эвакупункте убеждали его, что мы должны быть по дороге на Кавказ. Он стал писать по всем адресам, но больше двух месяцев находился в полном неведении. Почта в прифронтовой полосе работала плохо, и все мои письма до него не доходили. Наконец он получил телеграмму от тёти из Сибири, которая сообщила ему, что я работаю в санпоезде и дети со мной. Он ожил. Но дальше связь опять была потеряна. Письма в Сибирь шли лучше, и я всё время писала тёте. Узнав, что мы благополучно добрались до Пятигорска, тётя известила об этом мужа. И вот вчера я получила от него длинное письмо с описанием всех мытарств, пережитых им, в поисках нас. Он пишет, что теперь воспрянул духом окончательно, так как знает, что мы в безопасности, и ему будет легче переносить все физические лишения, связанные с блокадой. Из письма можно было судить, что положение в Ленинграде всё ещё очень напряжённое: частые обстрелы и бомбардировки. С питанием тоже тяжело, лю-

ди настолько ослабели за страшную зиму, что все эти незначительные прибавки хлеба, мало помогают, а других продуктов по-прежнему почти что нет. Он завёл себе огород в гараже и посадил там семена редиски, моркови и других овощей. Надеется, что это отчасти поддержит его в течение лета. Между прочим пишет, что на рынке появился щавель по 1000 рублей за килограмм и те, кто располагает такими деньгами, покупают и счастливы, что могут питаться такими необходимыми витаминами, а не дурандой и клеем. Сообщает мне разные сведения о друзьях и знакомых. Некоторым удалось эвакуироваться, другие, как например моя приятельница Ирина, лежат в больнице. Мужу удалось устроить её и ещё двух молодых женщин, сестёр большого друга. Больница — для всех спасение. Там всё-таки кормят немного лучше и регулярно несколько раз в день. Попасть туда очень трудно, нужно иметь связи. Необходимость же в больнице для всех одинакова. Пишет, что с весны сильно увеличилась смертность женщин, которые до сих пор как-то лучше держались.

28 июня.

Дошло до меня ещё одно письмо из Ленинграда — от жены технического директора Комбината, где работал до войны мой муж. Она пишет, что ленинградцы съели всю траву и листья с деревьев. Население заметно убавилось. Эвакуация и смерть забрала больше половины. Весной

много эвакуировали водой, но, главным образом, народ вымер от голода.

Жизнь в Пятигорске вся построена на «блате». Всё и вся можно получить по знакомству. Взятки во всех видах и размерах процветают. Особенно это наблюдается среди эвакуированных. Ленинградцы так долго жили под страхом голодной смерти, что они особенно боятся возможного повторения этой опасности. Выдаваемые пайки сокращаются. И вначале-то эти пресловутые пайки только изголодавшимся вконец людям могли казаться грандиозными, на самом же деле выражались они в каких-нибудь двух фунтах сахара в месяц, в небольшом количестве жиров и конфет. Теперь же выдают и того меньше. Ни при каких условиях этого не может хватить на месяц. Очень помогает столовая, но и о её закрытии идут разговоры. Эвакуированных же, не только из Ленинграда, но и из других городов, всё прибавляется.

На днях и со мной произошёл один случай, весьма меня обрадовавший. Каждый день я покупаю хлеб в одном ларьке, где продаёт молоденькая, очень миленькая продавщица. Особенной любезностью она не отличалась, да и разговаривать-то было некогда. Очереди за хлебом стали и здесь явлением нередким. Третьего дня, случайно, я пришла раньше времени, хлеб ещё не привезли, народу не было, и мы с ней разговорились. Как бы мимоходом, она заметила: «У вас хорошие духи, принесите мне, я вам и

белого хлеба смогу отпускать». Белый хлеб был большой редкостью, его выдавали только по специальным талонам «высокопоставленным» лицам. Боясь провокации, я не принесла. На следующий день, улучив момент, девушка опять спросила меня. Сегодня я решилась, отлила духов и отнесла ей. Получила двойную порцию хлеба, да ещё белого! Везде всё тоже самое.

30 июня.

Продолжаю получать двойную порцию и никаких угрызений совести нет. По-видимому, она урезывает у кого-то из «сильных мира сего», которые настолько хорошо снабжены, что и внимания на это не обращают, нам же теперь хватает на всю семью. Ляля тоже получает от своих клиенток всевозможные подарки. По одним этим подаркам можно судить, как хорошо им живётся. На днях она принесла большой кусок свинины. Все были в восторге при виде такого количества мяса. Случайно при этом присутствовала Лялина падчерица, дочь её мужа, Ивана. Последняя уговорила Лялю замариновать это сокровище, по какому-то особому, ей известному, рецепту. Ляля, находясь под сильным её влиянием, согласилась. Но через несколько дней, когда они открыли посуду со свининой, то убедились, что всё было покрыто червями. Возмущение Лялиных детей и матери было неопишимо. Но тут возникла новая проблема — скрыть случившееся от голод-

ных соседей. Ночью пришлось вырыть глубокую яму в углу сада и «похоронить» там остатки свинины.

Население Пятигорска определённо голодает. Единственно, что их спасает — это маленькие приусадебные участки, где они сажают всевозможные овощи. Те, у кого есть родственники в деревнях, снабжаются ещё фруктами и молочными продуктами, но это исключения. На рынке цены настолько высоки, что жителям они совершенно недоступны. Выдачи по карточкам минимальны, о них и говорить не приходится.

Сегодня, проходя по рынку, опять встретила Болховского. Раньше в Ленинграде мы даже не были очень близко знакомы, но теперь радуюсь ему, как старому другу. Всех ленинградцев как-то особенно сблизило всё пережитое нами и слово — «ленинградец» для нас обозначает многое. Болховской пригласил нас сегодня на своё выступление в летнем театре, в Цветнике, где он выступает с художественным чтением Анны Карениной. Решили пойти с Таней и Димой. Немного странным кажется, что можно ещё жить нормальной жизнью, даже ходить в театр, встречать людей, с которыми можно говорить не только о «хлебе насущном».

3 июля.

По газетам много не узнаешь, но слухи ползут со всех сторон, что немцы опять начали наступление. По радио

передают о невероятных зверствах, чинимых немцами на занятой территории. Когда всего наслушаешься, опять сердце сжимается, как год тому назад, в Ленинграде. Неужели возможно, что враг дойдёт до Кавказа, и мы опять очутимся в ловушке? Начинаю раскаиваться, что, когда было возможно, не уехала в Сибирь.

Жизнь всё же берёт своё. Забываем о слухах и радуемся прекрасной летней погоде и красотам Пятигорска и его окрестностей. Всюду встречаем ленинградцев: в столовой, в магазине, на рынке, на улицах. Со многими перезнакомились, подружились. Встретила и старых знакомых — преподавателей и студентов нашего Института. Ведём почти нормальную, довоенную жизнь. Ходим в кино, театр. Ездили с Таней в Ессентуки к «знаменитой» гадалке. Эта женщина эвакуировалась из Харькова в самом начале войны с мужем и сыном. По дороге попали под обстрел — мужа убило снарядом, у неё отняло обе ноги, но она выжила. Сына, уже из Ессентуков, забрали в армию, она же осталась на попечении сердобольных соседей. Занялась гаданьем. Клиентура у неё громадная, в это тревожное время каждый надеется на какое-то чудо. Власти города её не преследуют за подобное ремесло. Повидимому, смотрят сквозь пальцы. Посещение это произвело самое мрачное впечатление. Нет предела человеческому горю. По сравнению с ней, то, что произошло с нами, кажется совсем не так ужасно, как раньше казалось. Из всего того, что она мне говорила, запомнилось одно: в ско-

ром времени предстоит опять очень длинное путешествие и не надо колебаться, необходимо уехать. И в более далёком будущем всё видела у меня какие-то дороги, не только по земле, но и водой. Неужели теперь всю жизнь придётся скитаться? Глупо, конечно, верить всем этим предсказаниям, но я уже вижу нас, удирающих от наступающей немецкой армии через Каспийское море в степи Казахстана... Таню больше всего интересует судьба её маленькой дочки, оставшейся в Ленинграде, которую обещала следующим транспортом привезти в Пятигорск мать Тани. Когда Таня покидала Ленинград, был жестокий мороз, и мать её убедила оставить пока девочку, будучи уверенной, что ей удастся тоже эвакуироваться несколькими днями позже. Всё вышло не так. За морозами последовала оттепель, и дорога через Ладогу была закрыта. Когда открылось сообщение водой, возникли какие-то новые затруднения. В результате Таня разъединена с матерью и четырёхлетней дочкой.

10 июля.

Усиленным темпом забирают молодёжь на рытьё окопов. Плохой знак. Милочку, дочь нашей соседки, отправили сегодня со школой, где она учится. Мать волнуется. Недавно погиб муж на войне, а теперь такое беспокойство с девочкой. Осталась одна в доме с мальчиком, Виктором. Мальчишка — хулиган невозможный и теперь предоставлен самому себе, так как мать уходит в восемь часов на

работу в госпиталь и возвращается в пять часов вечера. Витя гоняет целыми днями по улицам и вовлекает во все выдумки Юрия. Иногда удерут куда-нибудь, что и найти невозможно. Для меня это тоже бесконечное волнение. В Лялиной семье тоже не всё благополучно. Младший сын, восемнадцатилетний Митя, призван в армию, и уже несколько месяцев о нём нет никаких вестей. Дочь Ольга недавно вышла замуж за одного молодого лейтенанта, с которым она познакомилась, работая в госпитале, где он лежал раненый. Он пока в отпуске у родителей, и она с ним, но вскоре будет опять отправлен на фронт. Старший сын, Коля — полуинвалид, в детстве у него был паралич, и его освободили от военной службы, теперь он работает в Пятигорске, но на самом минимальном заработке, и должен содержать жену, Зину. Их первый ребёнок умер зимой, которая была очень тяжёлой для пятигорцев — не хватало топлива (ведь лесов близко нет, а с транспортом дело обстоит плохо) и ощущался большой недостаток в продуктах. У Зины исчезло молоко, искусственное же питание детей у нас ещё в зачаточном состоянии, тем более, когда даже молока не всегда можно достать. Младшая Верочка ещё учится в школе. Сама Ляля вышла в третий раз замуж за некоего Красинского. Второй муж — Илья Аранович, еврей, от которого у неё трое детей, погиб несколько лет тому назад. Он ехал в служебную командировку и вёз с собой в портфеле важные документы и деньги. Какие-то злоумышленники столкнули его на всём ходу с поезда, ему отрезало голову.

Когда теперь Ляля слышит о злодеяниях, совершаемых немцами в отношении еврейского населения, она дрожит за судьбу дочерей и Мити. Уже многие евреи покинули Кавказ и двинулись в глубь страны. У неё же нет ни средств, ни транспорта, ни нужной энергии для такого переселения. Красинский не является помощью ни в каком отношении. Производит он на всех нас самое отвратительное впечатление. Бабушка, мать Ляли, просто его ненавидит. Прозвала его «Ванька-ключник». Он всегда с ключами, даже когда спит — держит их под подушкой, днём же носит их за поясом и запирает решительно всё, боится, чтоб его не обокрали. Мы издеваемся над ним и задаём себе вопрос, что он, собственно, запирает? Ведь в доме никаких драгоценностей или денег нет. И дети и домочадцы привыкли к широкому размаху покойного Ильи Арановича. У того всё было «нараспашку», не только душа, но и всем его имуществом мог пользоваться каждый, кто хотел. Теперь порядки изменились. Ляля не решается ему противоречить, дети ворчат, но на открытый протест не поднимаются. Мне это настолько противно, что я подумываю о переезде на другую квартиру. Кроме того, мы и живём ужасно скученно: Дима, Юрик и я помещаемся за ширмой в столовой. Если зайдёт кто-нибудь из соседей или знакомых, то и спать нельзя лечь, надо ждать, когда все розойдутся. Очень неудобно. Своего угла нет совсем. Да ещё по утрам будит «Ванька-ключник», гремя своими ключами и проверяя наличие зеркального шкафа, который, как на грех, стоит за ширмой в нашем «углу».

Я заикнулась о моих планах переезда Ляле, но она очень просила меня остаться. Не хочу её обижать, но о покое и думать не приходится.

12 июля.

Молодёжь чаще других забывает о войне и грозящей опасности захвата Кавказа немцами и предаётся всевозможным развлечениям. На днях я встретила одного своего ленинградского знакомого, инженера Пospelова, пригласила его к нам. Он, видимо, пленился Таней, хорошенькой голубоглазой блондинкой, и теперь каждый день проводит вечера у нас. Он предложил свою помощь Зине, Тане и Вере, поливающим огород. Они ничего лучшего не придумали, как из поливочной кишки облить нашего инженера с ног до головы. Я думала он им этого не простит, но сегодня он опять явился как ни в чём не бывало. Приехала Ольга — старшая дочь Ляли от второго брака. Муж её Николай перебрасывается в другую военную часть, она поедет его проводить, а затем останется на Востоке, так как её муж не сомневается в том, что Кавказу грозит большая опасность. Немцы стремятся завладеть нашей нефтью. Баку — уж слишком заманчивый кусок для Гитлера.

15 июля.

Ездила в Кисловодск разыскивать свою знакомую по Ленинграду, Римму Гордон. Оказалось, что ей с мужем и

дочкой удалось эвакуироваться ещё в прошлом году, вскоре по их приезде сюда из Ленинграда. Ведь прошлым летом немцы, по всей линии фронта, сильно наступали. Так как Гордоны евреи, я думаю, что они поступили правильно. По радио всё время предупреждают, что делается в захваченных областях. Разум этого не воспринимает, но всё же совсем не верить этому нельзя. Ольга очень настаивает, чтобы мать уехала с ней и увезла Веру.

20 июля.

От мужа получаю регулярно письма. Пишет, что теперь бодро переносит все испытания блокады, ибо знает, что мы в полной безопасности. По-видимому, всё же это напрасные слухи о возможном занятии немцами Кавказа. Уж очень много паники распространяют кругом. Муж просит нас прислать фотографии, не может себе представить, что мы опять приобрели человеческий образ. В его письмах всё ещё главный предмет заботы — голод. Он всё ещё беспокоится, что мы можем ощущать недостаток продуктов даже здесь, на Кавказе. Не очень-то верит моим убеждениям, что с этой стороны всё вполне благополучно. Конечно, его настроения мне вполне понятны, ведь мы же были, в конце концов, ко всему равнодушны: к бомбам, обстрелам, когда чувствовали, что всё равно умрём от голода. Голод — ни с чем несравнимое бедствие. Вспоминаю теперь, как мы с приятельницей Женей шли в столовую за супом под жестоким обстрелом и, перебегая от

одного дома к другому, из одной подворотни в другую, ни секунды не думали о том, чтобы вернуться, не получив обеда. И ещё другой случай. С той же Женей мы отправились в Михайловский замок, где в то время помещался госпиталь, чтобы найти моих близких друзей, мужа и жену, работавших в качестве врачей в этом госпитале и, конечно, имевших довольно приличные пайки по своей работе. В то время Михайловский замок вполне соответствовал тому мрачному представлению, которое у всех было с ним связано. В Михайловском замке, в ночь на 11 марта 1801 года был задушен царь Павел I. Даже в самые светлые дни жизни в Ленинграде на меня этот замок производил подавляющее впечатление, связанное с историей этого жуткого убийства. Теперь же, пройдя внутрь и спросив фамилию наших друзей, мы были принуждены пройти ряд тёмных зал (электричество уже не работало), освещённых маленькими коптилками. Всюду, даже в коридорах, лежали раненые, похожие скорее на привидения, чем на живых людей. Отовсюду раздавались стоны и жалобы. Мы рады были, когда выбрались на узкую заднюю лестницу, которая вела в квартиру врачей. Но тут-то и началось настоящее испытание. Вся лестница была покрыта льдом, ступеней не было видно. Это была просто ледяная гора. К этому времени всюду лопались водопроводы, о починке нечего было и думать. Мы начали ползти, боясь сорваться и полететь вниз. Такое восхождение могло бы только присниться в кошмарном сне. Мы всё же упорно тянулись вверх, гонимые одной надеждой, что наши

друзья поделаться с нами своим, более обильным, пайком. Когда мы наконец добрались, нас ждало полное разочарование и, хотя наши жадные взоры заметили сразу на столе не только хлеб, но даже чёрную икру, нам дали понять, что на их помощь рассчитывать нечего. До чего голод ожесточает людей!

24 июля.

Сегодня день моих именин. Ляля, за хорошо сшитое платье жене начальника НКВД, получила белой муки и масла, я отложила из получаемого нами пайка для эвакуированных ленинградцев сахару, и был устроен «чай» мирного времени. Пироги и ватрушки с вишнями и абрикосами из нашего сада вышли очень удачно, и мы отпраздновали этот день, пригласив даже гостей. Так как наша семья к этому времени возросла до двенадцати человек, то с соседями нас было двадцать. Завтра уезжают Ольга и её муж. Упорно убеждаю Лялю бросить всё и двинуться вместе с ними через Каспийское море в безопасные места. Николай считает, что мы все должны принять это решение не медля ни минуты. Каким образом можно совершить этот путь почти не имея в наличии денег? Транспорта нам никто не даст, лошадей нанять невозможно по той же причине — отсутствия средств. Ни у Ляли, ни у нас их нет. Те четыре тысячи — мой железный запас, давно ушли. Жили мы все только на то, что получали, а с отъездом и этого бы лишились, кроме аттестата моего мужа,

который был везде действителен, и моей пенсии по инвалидности. Но это же крохи по сравнению с безумно растущими ценами в стране. Коля, сын Ляли от первого брака, настроен менее пессимистично, он даже и возможности не допускает, что немцы заберут Кавказ. Тогда, по его мнению, вообще конец войне. Если падет Баку, мы лишимся нефти и путь по Волге будет отрезан. Кроме того, он не видит никакой реальной возможности нашего отступления за Каспийское море, принимая во внимание возраст и болезнь бабушки, которую оставить мы не можем, и полного отсутствия как средств передвижения, так и денег.

27 июля.

Сегодня Ляле предложили транспорт на троих. Вот это задача! Кого же взять, кого оставить? Конечно, о нас и Тане и речи быть не может, но даже всех ближайших членов её семьи взять не удастся. Бабушка категорически заявила, что она, во всяком случае, остаётся. Иван дрожит, как осиновый лист и от страха перед поездкой и от возможности остаться, его эгоизм и трусость дают себя знать. Ляля не знает на что решиться, а ответа требуют немедленно. Помня, как я пострадала благодаря своей нерешительности, я советую ехать. Главное надо увезти Верочку, ну а третьим придётся брать Ивана. Нельзя забывать, что Верочка наполовину еврейка, значит ей грозит самая страшная опасность. Мы, то есть мои дети, Таня, Коля с Зиной и бабушка, пока останемся и будем искать

какой-нибудь другой возможности или через Военный Комиссариат, где я получаю пособие за мужа, или через работу Коли, где ему намекали на возможность эвакуации.

30 июля.

Сегодня Ляле в транспорте отказали, оказывается не хватает места даже для самых ответственных работников. Я пошла в Военный Комиссариат узнать какие есть возможности. Забрала все свои документы и аттестат мужа. Перед Комиссариатом стояла толпа женщин, по большей части с маленькими детьми на руках. Все они ожидали приёма начальника транспорта. Я присоединилась к ним. Из разговоров выяснилось, что большинство было эвакуированных из Ленинграда в течение прошлой зимы. Мы ждали часа два, но так и не были приняты. Вышел красноармеец и объявил, что начальника куда-то вызвали по срочному делу и он сегодня принимать не будет. Посоветовал всем опять собраться завтра. Разошлись с тяжёлым сердцем, что-то опять весьма тревожное надвигается на нас. Многие женщины плакали и жаловались, что попали из огня да в полымя. Вспомнили Ленинград, который теперь им представлялся чем-то своим, хоть и тяжело было, да дома, а здесь они все чувствовали себя совсем чужими и одинокими.

1 августа.

В городе какое-то смутное беспокойство. Хотя по радио особенно угрожающих сведений не поступает, но всё же

передают разные новые направления наступления немецкой армии и, хотя всё это ещё очень далеко от нас, всё-таки как-то делается не по себе. Лялин хороший друг, заведующий консервным комбинатом, зашёл вчера и предложил нам консервов. Довольно странно, что предлагает свободно воспользоваться консервами, которые являются железным запасом продовольствия города. Мы с Таней побежали туда в условленный час (очень рано утром) и поразились его щедростью: он дал нам столько банок, что мы их еле дотащили домой. На наш вопрос не зайдёт ли он ещё к нам на этих днях, он уклончиво ответил, что очень занят. Мы удивились. Он, не считаясь с работой, заходил к нам довольно часто.

В Военном Комиссариате, добившись наконец приёма, я получила отказ за отсутствием свободного транспорта.

Встретила сегодня двух студенток моего Института и с ними педагога. Объявили, что собираются уйти пешком.

2 августа.

Сегодня с Юриком бегали опять в Военный Комиссариат за получением денег по аттестату мужа. Ещё в очереди услышали, что кассира нет и о деньгах нечего думать. Женщины расходились в большом волнении, обсуждая что предпринять дальше. Нам с Юриком удалось всё же проникнуть в здание. Без всякого стука, я ворвалась к кассиру, который как раз закладывал в портфель последние бумаги со стола и собирался уходить. Мне всё-таки уда-

лось получить мои 500 рублей. Но что делать с ними дальше? До нас доходили слухи, что, ожидавшие переправы через Каспийское море, за ведро пресной воды должны платить 20 рублей, а за переправу — тысячи.

По дороге домой мы заметили, что около магазинов стоят громадные очереди. Всюду выбросили массу всевозможных продуктов, давно невиданных населением. Как из-под земли появились: сахар, масло, мыло, консервы. Нам удалось тоже купить кое-что. Уйдем ли, застрянем ли — всё равно ведь есть надо. Это было самое рациональное использование нашего пятисотрублёвого богатства. Цены на эти продукты были государственные — твёрдые. Вернулись домой, а там новое волнение. Вышел приказ: всем мужчинам от шестнадцати до пятидесяти пяти лет выйти организованным порядком (конечно, пешком) из города. Кто через 24 часа после выпуска этого приказа будет встречен на улице, подлежит расстрелу. Трудно представить ту панику, которая обуяла наш дом и дома соседей.

3 августа.

Коле — двадцать четыре года, Ивану — пятьдесят, они оба подпадают под этот закон. Вечером, с группой мужчин, по разным причинам не призванным в армию, иными словами инвалидов, они двинулись по направлению Нальчика. Толку из этого похода не вышло никакого. Уже в первые часы многие разбрелись по соседним местечкам

и попрятались там. Иван с Колей, вдребезги измученные и голодные, вернулись сегодня утром, решив, что всё равно где погибать. Перепуганная всеми этими обстоятельствами, Ляля побежала к знакомому врачу в больницу с просьбой положить туда на время мужа и сына. Больница была переполнена, но всё же доктор поместил их обоих в коридор. Для устройства Коли были все основания: у него опять развился его ревматизм и одна рука совсем перестала работать. Что касается Ивана, его взяли просто «за компанию».

6 августа.

Эвакуация идёт усиленным темпом, но уезжает почти исключительно одна «верхушка». Мысленно сравниваю с эвакуацией из Ленинграда; несмотря на весь беспорядок, который там господствовал, всё же было несколько больше справедливости. В Пятигорске же творится такое безобразие, которому нет никаких границ. Собственными глазами видела, как в грузовик попадает не только семья, но обстановка и... дрова. Трудно было поверить своим собственным глазам, но увы! это печальный факт и не один.

На углу, из ближайших к нам улиц, расположилась кучка еврейской бедноты. Толпятся они на этом углу уже двое суток, умоляя проезжающие машины захватить их. Никто не обращает внимания. Они так кричат и плачут, что стоит непрерывный гул. Сегодня на моих глазах им

удалось остановить красноармейскую машину. Солдаты сжалились и захватили несколько человек.

За несколько дней всё начальство куда-то исчезло. Пошла в Институт — никого. Спрашиваю сторожа: «Где директор?» — «Нет». — «Декан?» — «Тоже нет». — «Да где же, наконец, они?» Меня отозвал в сторону знакомый преподаватель: «Лучше не спрашивайте, они все бежали, забрав институтские деньги и печати». Когда проходила по коридорам, встречала группы профессоров, обсуждающих положение. Женщины плакали. Только и слышалось: «Стоило ли вывозить нас из Ленинграда, чтобы бросить здесь?». Попались мне и две знакомые студентки-еврейки, сёстры Браунштейн, которые должны были несколько дней тому назад уйти с моей преподавательницей французского языка. Девушки бросаются ко мне навстречу, в слезах. Я им пеняю, почему же не ушли раньше. Кто-то пообещал им всем транспорт — и надул. Подходит ещё одна преподавательница, за спиной рюкзак, запаслась продуктами на несколько дней и решила идти пешком. Знакомлю её с девушками. Она им предлагает присоединиться к ней. Втроем путешествие кажется не таким страшным. Из Института проходим по улице, где находился Военный Комиссариат. Всё заперто. На улице по-прежнему группа женщин. От слёз и причитаний — стон стоит. Никто из женщин так денег и не получил. Начальство удрало. Обещали транспорт, эвакуацию — надули. Вчера же, в последний момент, предложили идти пешком

на Махач-Калу, а у всех почти женщин маленькие детишки, ну далеко ли с ними дойдут? Слышу всё то же: «Зачем, зачем вывозили из Ленинграда, уж лучше было бы умереть у себя дома». Забегаю в Страхкасу получить мою инвалидную пенсию. Меня там встречает старик сторож, как с луны свалившуюся: «Деньги хотите получить? Да какие вам деньги! Заведующего уже два дня, как след простыл. Он всё с собой забрал. Ваши денежки тоже пригодятся, небось слышали сколько переезд через Каспийское стоит? С одной тыщонкой не справится!» Старичок ещё способен иронизировать.

7 августа.

Больше это не слух, а действительность. Немцы близко, начальство благополучно эвакуировалось, забрав казённые деньги, весь городской транспорт, да и кстати свою обстановку и даже дрова... Население же предоставлено своей судьбе. Все наши попытки эвакуироваться — и всей семьёй и в отдельности — успехом не увенчались. Сговорились с одной семьёй выехать на лошадях, но и этот план провалился. Ночью кто-то вывел приготовленных уже лошадей. Страх так велик, что никто ни с чем не считается. Сегодня я стояла на той улице, где помещается лазарет и с ужасом наблюдала, как выходили раненые солдаты и пешком, ковыляя, уходили из города. И для них нет транспорта. Многие на костылях, другие без рук, с забинтованными головами. День же нестерпимо жаркий. Солнце печёт. Далеко ли они дойдут?

8 августа.

Сегодня соседка, возвращавшаяся пешком из Нальчика, сообщила новость, которая заставила меня порадоваться. Раненые преградили дорогу машине, нагружённой доверху не только людьми, но багажом и топливом, выкинули всё и всех на дорогу и заняли грузовик. Шофёр не возражал и повёз их дальше. Идёт полный грабёж города. Наступило безвластие. По улицам тащат бочонки постного масла, мешки с мукой, целые туши мяса. Такой крик, что страшно становится выйти на улицу — чем только всё это может кончиться? Люди просто озверели. Соседи, бегавшие тоже за постным маслом, рассказывали, что около этих открытых громадных бочек с маслом идёт такая драка, что дерущиеся, того и гляди, утопят друг друга в этих бочках.

Отовсюду ползут слухи, что завтра, 9-го, будут бомбить город. По радио ещё даже не передавали о взятии Ростова. На нашей улице Кочура, расположилась красноармейская часть. Стоят грузовики. Красноармейцы спят прямо на земле, чёрные от загара, вдребезги измученные. Некоторые сидят, мрачно уставившись в одну точку, даже разговоров не слышно. Мы побежали в сад, набрали им слив, персиков, яблок. Послали Юрика, как самого маленького, отнести им. Взяли, поблагодарили, но в разговор ни с кем не вступают. Подошли женщины, жёны красноармейцев, просили их взять с собой. Начальник отдал распоряже-

ние женщинам разойтись. Вскоре все военные разместились по грузовикам и уехали в направлении Горячеводска.

8 августа. Вечер.

По улицам пролетают отдельные машины. На главной улице, в одной из них, мы заметили находившуюся раньше около нас женщину с детьми. Видимо, ей удалось кого-то уговорить, и её вывезут. Другие с завистью смотрели ей вслед. Через наш садик пробежала группа красноармейцев, прыгая через забор, побросали кое-что из тяжёлых вещей. Говорят, что их видели около электростанции, неужели будут взрывать? Нас всех всё время тянет на улицу посмотреть, что там происходит. Невозможно сидеть спокойно, когда такое смятение повсюду. Похоже на беспорядочное бегство нашей армии. За забором садика нашли брошенную винтовку. Это уже настоящая паника!

9 августа.

Проснулась в семь часов. Тишина полная. Как будто ещё вчера вечером не стучали грузовики по мостовой, не раздавались тревожные гудки, не топали тяжёлые красноармейские сапоги под окнами. Как сон всё прошло. Наш милый сад с многочисленными фруктовыми деревьями, утопает в блеске солнечных лучей. На небе ни единого облачка. Села на крылечке — и не хочется уходить. Как-то уж очень спокойно всё кругом и красиво в это чудное августовское утро. Вышла Ляля. Она уже больше на рабо-

ту не ходила. Шить было не на кого, её клиентура разбежалась давно. Благодаря этой тишине и покою, не хотелось думать о войне и наступлении немцев. Ляля же настаивала, чтобы я пошла с ней закрыть «щель» перед домом, которая ещё не была покрыта досками, как мы давно предполагали это сделать, но всё откладывали, стараясь не верить в опасность. Всё-таки я сдалась на её просьбу, мы пошли, перетасили старые ворота и засыпали сверху землёй.

Город начал просыпаться. Хозяйки потянулись на базар. Целая группа соседей прошла мимо нас, весело сообщив, что на вокзале стоят вагоны, груженные мукой.

Таня, Юрочка и я пошли на базар, решив истратить оставшиеся деньги и купить что-либо из продуктов. На базаре царило большое оживление. Народу собралось много. Продавали, меняли. Только что мы занялись нашими покупками, как раздался оглушительный залп — и вся толпа бросилась врассыпную. Мы тоже побежали с базарной площади к центру города. За этим залпом ничего больше не последовало. Народ вскоре успокоился, высказывая предположение, что это был какой-нибудь взрыв. Рассыпались по магазинам и складам, которые больше никем не охранялись. Мы трое отправились домой. В это время опять раздался сильнейший взрыв, за ним второй, третий... Люди со всех сторон начали кричать: «Десант!». Не зная что и думать, мы бросились бегом к нашему дому.

Стрельба не прекращалась. Около дома видим бабушку и Веру, направляющихся к щели. Эта щель кажется таким смехотворным укрытием от этой потрясающей весь воздух стрельбы, что я кричу им бежать обратно домой. Всей семьёй и с соседями устремляемся в маленький флигель в глубине сада. Окна и двери закрываем. Устраиваем настоящие баррикады из всевозможных вещей, попадающихся под руку. Сами ложимся на пол. Стрельба всё усиливается. И, кажется, приближается. Создаётся впечатление, что бой идёт на нашей улице. Старушка бабушка истово крестится и благодарит меня, что я её увела. Шум вокруг стоит невообразимый, и трудно понять, что происходит. Всё сливается в один сплошной, непрерывный гул.

И вдруг — всё затихает. Эта тишина кажется особенно жуткой. Выждав некоторое время, мы приоткрываем дверь и выходим в сад. Тихо. Солнце уже клонится к заходу. Небо всё такое же чистое, голубое, как утром. Только в воздухе словно дымка. Тихо так, что даже листья не шелестят, не слышно ни птиц, ни насекомых. Людей тоже нигде не видно. Словно гроза разразилась, и всё кончилось. Мы совсем расхрабрились и заглядываем на улицу. В эту минуту слышится гул приближающегося танка. Он движется прямо вдоль нашего забора. Вырвавшаяся из-за наших спин пятнадцатилетняя девочка, дочь соседки, Милочка, громко и радостно кричит: «Наши, наши вернулись,

видите же, обратно идут, отбили немцев». За первым танком движутся ещё и ещё — целая вереница. На них, ничем не скрытые, только с оружием в руках, солдаты. Заходящее солнце отсвечивает в железном кресте, а наверху танка виднеется немецкий флаг со свастикой. Сомнений больше нет — город занят немцами.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Венок на могилу	5
Ленинград	11
Исход	87
Пятигорск	139

Achévé d'imprimer
sur les Presses d'Offset-Aubin
86000 Poitiers
le 20 janvier 1976



Dépôt légal, 1^{er} trimestre 1976 — Imprimeur n° 6065.
Imprimé en France.

